



<В. П. ОБНИНСКИЙ>

Последний самодержец. (Материалы для характеристики Николая II)*

Незадолго до начала войны в Берлине была издана без обозначения автора книга под названием «Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России Николая II». Автор книги не задавался целью дать очерк истории России за последний период ее жизни. Когда в его большом томе в 500 слишком страниц проходят пред нами одно за другим события внутренней и внешней жизни России, центром нашего внимания остается сам Николай II, его двор, круг министров и крупных чиновников, — те сферы, где делалась политика. Книга «Последний самодержец» носит черты не только исторического очерка, основанного на различных документальных данных, она имеет характер и мемуаров, обличающих в авторе близость к политической и общественной жизни страны в последнее время и близкое знакомство с теми сферами, о которых он говорит.

Редакции «Голоса минувшего» известно, что книга принадлежит перу В. П. Обнинского, и это обстоятельство придает особую ценность ее свидетельству. Будучи председателем Калужской губернской земской управы, членом 1-й Государственной думы,

* Впервые: Последний самодержец. (Материалы для характеристики Николая II) // Голос минувшего. Журнал истории и истории литературы. 1917. № 4. С. 38–90. (Работа была опубликована без указания авторства В. П. Обнинского.) Печатается по этому изданию.

Обнинский Виктор Петрович (1867–1916) — русский общественный деятель, один из организаторов кадетской партии, депутат I Государственной думы, писатель и публицист, выступавший с критикой николаевского царствования и «разоблачениями» истории жизни императора Николая II. С осени 1914 г. до апреля 1915 г. состоял военным корреспондентом на Юго-Западном фронте. Покончил жизнь самоубийством. — *Примеч. сост.*

в свое время отбывшим наказание по Выборгскому процессу, В. П. Обнинский всегда стоял в центре политической и общественной жизни России. Будучи во времена молодости Николая II стрелком Его Величества, В. П. Обнинский мог близко наблюдать тогда еще наследника Николая, придворный быт и нравы высшей бюрократической среды. Постоянная искренность, правдивость и высокая нравственная чуткость покойного В. П. Обнинского, о которых знают все, близко стоявшие к нему, заставляют особенно ценить каждое его свидетельство и суждение. Суд старого строя в книге В. П. Обнинского суров, но та моральная высота, на которой всегда держался Обнинский, дает ему право на тот жестокий для управлявших Россией людей приговор, которым является его книга.

Не имея возможности ознакомить читателей со всем богатым материалом книги В. П. Обнинского, редакция «Голоса минувшего» в извлечениях и отрывках дает здесь то, что имеет более близкое отношение к Николаю II и императорской семье и больше носит характер личных наблюдений и впечатлений автора. Эти черты печатаемых ниже отрывков служат достаточным оправданием для появления их в нашем журнале.

Выдержки из книги «Последний самодержец» пополнены нами отрывками из фельетонов «Не анекдот, а факты» и др., помещенных в 1912 г. в издававшемся в Париже В. Л. Бурцевым журнале «Будущее». Материалом для статей в «Будущем» послужили как воспоминания В. П. Обнинского, так и других лиц.

Ред.

I

Воспитание царя

Событие 1 марта 1881 г. оборвало жизнь Александра II и возвело на престол нового императора. Это был тихий, неуклюжий, малообразованный офицер. Женатый на дочери датского короля Дагмаре, Александр Александрович был добрым семьянином. Еще будучи наследником, он получил отвращение к военному ремеслу, что резко отличало его от предков, делавших из солдатчины предмет как бы культа.

Первым вопросом нового царствования было — публиковать или нет уже готовое сообщение об учреждении известных комиссий Лорис-Меликова, и под натиском реакционеров, которых цареубийство окрылило надеждами, вопрос был решен отрицательно, к чему склонялся, впрочем, и сам царь. Казнь

участников убийства Александра II была вторым шагом нового правительства. Ни письмо Л. Н. Толстого, ни письмо самих революционеров не могли поколебать воли царя, уже связанного по рукам и ногам кликой реакционеров, и новое царствование началось убиением подданных. Началась чистка в рядах администрации; устранялось все ненадежное. Учреждены были генерал-губернаторства с определенной целью давить жизнь и заглушать всякие попытки к общественной организации. Воцарилось взаимное недоверие, подозрительность и угрюмое молчание.

В эти дни Николай II стал наследником престола.

«В эту важную и, можно сказать, роковую минуту своей жизни Николай был двенадцатилетним, довольно тщедушным и некрасивым мальчиком; недостаточно большим, чтобы осмыслить совершившееся вокруг, но и не таким ребенком, чтобы не реагировать на окружающую его обстановку. Первым сильным впечатлением его юности оказывались, таким образом, кровавые страницы русской истории, и будущий царь вступал в сознательную жизнь под тем именно красным знаком, который преследовал его затем во всех ответственных и важных случаях жизни. Но тогда никто не задумывался над судьбой мальчика в простой матросской куртке, с худенькой шеей и красивыми, от матери унаследованными глазами. Общее внимание сосредоточивалось на мобилизации вокруг нового царя всех сил, способных подкрепить пошатнувшийся было принцип самодержавия, всегда бывший только синонимом чиновничьего абсолютизма.

Что касается до самого царя, то он, видимо, тяготился выпавшей на его долю обязанностью быть всегда на виду и в центре правления. Даже самый Петербург был противен по воспоминаниям, страшил своими широкими проспектами и пустынными площадями, где так часто упражнялись в охоте за царями эти неуловимые и неприятные люди, революционеры. Кончилось тем, что двор перебрался на постоянное пребывание в Гатчину...»

«Гатчина еще со времени Павла I сохраняет отпечаток казарменности. Все серо, скучно. За внешней чистотой прямых улиц, за пышной зеленью огромного парка, за высокими деревянными частоколами всюду скрывается невыносимая холодная пустота, отсутствие жизни. В кристальные воды тихих гатчинских прудов

смотрятся лишь молчаливые лебеди, и такие же молчаливые фигуры дворцовой стражи бродят по их берегам и дорожкам зверинца. Настоящее место для почетной ссылки какого-нибудь свергнутого самодержца. И вот сюда-то добровольно сослал себя и семью свою Александр III, который, однако, и сам не знал, что делать со своим самодержавием. Это был просто испуганный человек, которому охотно внушали мысль об уединении как средстве сохранить себя от бомбы или пули террориста.

Та же боязнь, стремление замкнуть теснее вокруг своего тела обычно огромные пустыри дворцовых комнат заставила Александра избрать для постоянного своего пребывания не парадные покои, а нечто вроде антресолей, где в Павловы годы гнездилась, вероятно, лишь придворная челядь. Человек среднего роста доставал там рукою до потолка, а царь был высок, тучен и любил воздух.

Крохотные комнаты не вмещали в себя не только громоздкой дворцовой мебелировки, но даже рояля негде было поставить, и Мария Федоровна музицировала на обыкновенном пианино. Мещанские кресла и кушетки стояли в мещанском же порядке вдоль стен, на которых чередовались картины новой и старой школ вперемежку с фотографиями, прикрепленными кнопками к простым скромным обоям.

Как всегда, обстановка внешняя накладывала свою печать и на внутренний строй жизни семьи. Здесь дни протекали не как в центре страшной по размерам власти, где вершились судьбы стомиллионного народа, а как в помещичьей усадьбе сороковых годов, в ограниченном кругу домашних и хозяйственных интересов. И очередные наезды министров бывали не развлечением даже, а докукой жизни, походившей на сонный пруд, слегка подернутый живописной, но вредной плесенью».

В такой обстановке подрастал Николай и его братья. Сам человек без серьезного образования, император Александр вряд ли сознавал необходимость дать своему наследнику те знания, которые были необходимы ему в будущем. Для Николая и его братьев не столько искали серьезных учителей, сколько доброго воспитателя-гувернера. В Гатчине повторилась та же картина, которая наблюдалась в старые годы в дворянских семьях России: плохие случайные учителя и честные привязанные няньки.

«Такой именно нянькой был воспитатель Николая и его братьев англичанин M-r C. Heath, “Карл Осипович”, как его

обыкновенно называли. Чистейший идеалист, хорошо по-своему образованный ум, прекрасный художник (акварелист) и спортсмен, М-r Heath принес во дворец, кроме всего этого, еще и глубокую преданность приютившей его царской семье. Но ни сорок лет, проведенных им в России, ни постоянные встречи и беседы с русскими людьми не принесли ему никакого знания страны, народа, его истории. Поэтому и влияние этого человека было ограничено так же, как и влияние всякой няньки, стенами детской. В раннем детстве оно сказалось привитием вместо родного английского языка. И долго еще спустя, когда Николай уже царствовал, его русские речи, если не были приготовлены, были подстрочными переводами английских фраз. В юношеские годы первое место занял спорт всех видов, и царские сыновья хорошо скакали, стреляли, ловили лососей. К живописи и музыке ни у кого не оказалось наклонностей, а то, что делали акварелью Николай и Ольга, указывало даже на особенную их бездарность. Характеры детей, как это нередко случается, были совершенно несхожи, несмотря на однородную атмосферу семьи. Никто не прививал, например, Николаю важности и сознания его будущей роли, но он смутно ощущал ее сам. Когда в первый раз появился за обеденным столом старик с красивым ласковым лицом типичного английского джентльмена, Николай холодно приветствовал своего будущего воспитателя. А после обеда, когда М-r Heath, желая сломать чувствовавшийся ледок, предложил мальчику поиграть с ним, Николай с нешедшей к его скромной и милой фигурке напыщенностью сказал: «Как мне с вами играть? Я князь, а вы — простой старик». Умный англичанин схватил тогда князя на руки, и через полминуты тот заливался веселым хохотом, защищаясь от блохи, которую изображал из себя М-r Heath. Впоследствии, напоминая подросшим братьям необходимость скромности, он сложил для них очень милую сказку о поросенке, кичившемся своей породой и крючковатым хвостом. Дело кончалось тем, что поросенок опрокидывал в борьбе какой-то плебей с того же скотного двора, и вид голубого неба, облаков и деревьев обращал негодного свиненка в вполне порядочную свинью».

Второй сын Александра, Георгий, отличался своею замкнутостью. Болезнь, которая развилась впоследствии, уже наложила отпечаток на его характер. Третий брат Миша, здоровый краснощекий мальчуган с живым веселым нравом, был любимцем отца.

«Не редкость было видеть, как, проезжая по улицам Гатчины и даже Петербурга, Александр сидел, пригнувшись к крошечному человеку в офицерской форме, и как грузное тело царя сотрясало от смеха, вызванного каким-нибудь замечанием Миши».

Одно близкое ко двору лицо передает такую сцену в с. Ильинском, где Александр часто гостил у своего брата Сергея.

«Взрослые сидели на террасе, уставленной цветами, а Миша копался внизу в песке. Взяв лейку с водой, бывшую случайно возле него, Александр крикнул:

— Ну-ка, Миша, становись сюда!

Миша стал под террасой, и отец вылил ему на голову немного воды. Все посмеялись и хотели уже послать мальчика переодеться, как он потребовал, чтобы его место занял отец. Делать нечего, Александр сошел с террасы, а Миша, завладев наверху лейкой, все ее содержимое отправил на блестящую на солнце лысину царя, после чего оба и отправились менять свои туалеты».

Так прост был режим, в котором росли и воспитывались дети Александра. Но не получая в то же время хорошего образования, они были обречены на невежество, и Николай на всю жизнь остался на уровне развития и знаний гвардейского офицера.

«Состав преподавателей был на редкость плох; а те, что готовы были бы поразвязать свои языки на уроках, стеснялись и своего общего руководителя Победоносцева, и присутствовавшего всегда генерала Даниловича, тупого, мало знавшего человека, не имевшего и отдаленного представления о важности и существовании выпавшей на его долю задачи».

Совершенно очевидно, что наука, подносившаяся и без того неподготовленному мозгу в столь неказистой форме, должна была только утомлять его, а не развивать, надоедать, а не заинтересовывать».

Образование царя, казалось, было тяжелой повинностью с обеих сторон, а природная лень всех трех князей тормозила его еще больше. Вот один из образчиков и невежества, и неповоротливой лени князей.

«Когда, по смерти Александра III, придворный траур надолго сковал возможность каких бы то ни было увеселений для великих князей, м. Хис, кажется, особенно отличавший всегда Михаила Александровича, захотел развлечь его и с разрешения Марии Федоровны пригласил великого князя к себе на литературно-музыкальный вечер, нарочно для него и придуманный. Что бы

было предложить “августейшему” вниманию? По общем совещании решили прочесть, разобрав по ролям, “Скупого рыцаря” Пушкина; затем Абакумов, впоследствии директор карточной фабрики, должен был декламировать какое-то стихотворение на старорусскую тему, барон Гойнинген-Гюне, впоследствии статс-секретарь Гос. совета, произнести французский монолог “Le cylindre”, г. Вергопуло, тоже статс-секретарь, сыграть что-нибудь на рояле, г. Бенуа — на флейте. Но самый большой и совершенно неожиданный успех имел офицер императорских стрелков г. Обнинский с попури из “Паяцев” Леонкавалло, исполненным им совместно с Блэком — “таксиком дочери м-ра Хиса, не выносившим жалобных звуков”.

Собрались. Пришел Михаил Александрович, высокий, краснощекий мальчик, лет семнадцати, одетый в матросскую куртку, застенчивый и очень милый. Прочли “Скупого рыцаря”, великолепно произнес монолог свой Гюне, изящно играл Шопена Вергопуло, все было хорошо. После чая посадили Блэка за рояль, Обнинский стал извлекать из него слезливые мелодии паяца, и поднялся тут вой, как в лесу. Великий князь сразу оживился, хватал такса, валился от смеха на рояль и вообще показал ясно, что здесь “развиватели” попали в настоящую, так сказать, точку. Потом опять чинно уселись в гостиной, еще что-то прочли. М-с Хис, разговаривая с Михаилом Александровичем о чтении, говорит ему, между прочим:

— Вы, конечно, знали и раньше “Скупого рыцаря”; мы хотели только напомнить вам его в художественном чтении...

— Нет, Минна Федоровна, — перебил великий князь, — я его никогда не читал.

— Как не читали? Верно же вы проходили это с учителями?

— Да нет же... и вообще я Пушкина еще ничего не читал...

Все смолкли. В семнадцать лет все здесь бывшие простые смертные кончили уже среднюю школу, а этот юноша, наследник тогда русского престола, не читал “еще” Пушкина. Но лучшее было впереди. Когда Михаил Александрович уходил, и гости Хиса высыпали в переднюю провожать его, а м-с Хис совала ему в карманы яблоки и конфеты, как какому-нибудь сиротке, пригретому в доброй семье, наследник сказал, не стесняясь присутствия посторонних и, видимо, не придавая значения своим словам:

— Ах, Минна Федоровна, как я вам благодарен за сегодняшний вечер... Ведь теперь, когда очередь дойдет до “Скупого рыцаря”, мне уж не нужно будет его читать.

Немного сконфуженные, разошлись гости с этого вечера, унося всякий свои мысли. Это не был Обломов, потому что подвижность и любовь к спорту отличали всех детей Александра III, это было гораздо хуже: мозг с редкими и неглубокими извилинами, мозг хорошо упитанного ученика в старо-греческой школе профессиональных атлетов. В этих ясных глазах отражалась примитивная радость жизни, они зажигались от лесного шума, от воя веселой собачки, но настоящая жизнь, такая сложная и неулыбающаяся, не докатывала сюда своих волн; эти люди знали об ней не больше, чем знают об океане крестьяне Московской губернии. А роль ведь им предстояла чуть не самого Посейдона!» ...

Если так обстояло дело с литературой и Пушкиным, то не лучше шли и военные предметы; сколько-нибудь талантливые люди держались военным министром Ванновским в черном, что называется, теле, а бездарности из Главного штаба давали еще меньше, нежели бездарности из университетов. Надо всем доминировали попы, церковные церемонии и обряды, наряды, маневры, формы одежды войск и тому подобные вещи и дела, способные только принизить интеллект будущего монарха. По страшной иронии судьбы, воспитание и образование русских царей подвергалось словно преднамеренной деградации, шедшей в обратном направлении с ростом и усложнением государственной жизни; Лагарп у Александра I и ничтожный швейцарец, любитель богословия — у Николая I, Жуковский у Александра II и Данилович у Николая II, молодой Победоносцев у Александра III и руина-Победоносцев у его сына.

Итак, если от юноши скрывали даже научную, то что же ожидало во дворце печальную правду самой жизни?

«— Пока вы еще наследник, пользуйтесь случаем слышать правду. Станете царем — поздно будет, — не раз говорил m-r Heath Николаю. Но он и сам не знал этой правды».

II

Путешествие великого князя

В программу образования великих князей входила и задача ознакомиться с жизнью страны. Но и здесь делалось все для того, чтобы правда жизни осталась скрытою от их глаз. Такие путешествия царей и великих князей с целью знакомства со страной всегда обставлялись целым рядом обычных условностей. Высоких

путешественников сопровождала большая свита, заранее составлялся точный маршрут путешествия, и губернаторам рассылались циркуляры, где давался перечень вещей и явлений, «которые надлежало бы скрыть от высокого внимания», и проекты тех речей, с которыми надо было обращаться к гостю. Администрация пунктуально выполняла все требования, и все путешествие шло по определенному шаблону.

«Войска и агенты охраны кричали ура, проклиная в душе тяжелый день, когда приходилось быть на ногах и на местах с раннего утра; губернаторы и исправники мысленно молили Творца, чтобы пронес благополучно хлопотливого посетителя. Последний старался делать ласково-милостивое лицо и задавать не слишком уж глупые и пустые вопросы. Разнообразили постоянный тон картины лишь непредвиденные случаи. Так, покойный поэт и придворный хроникер, К. Случевский, рассказывал о посещениях в 80-х годах прошлого века в к. Владимиром Александровичем поволжских городов. В Самаре в числе местных достопримечательностей великому князю решили показать столетнюю бабу, еще державшуюся на ногах, что в русском крестьянстве действительно являлось изумительным случаем. Старуха повалилась на землю, пытаясь поцеловать край княжеской одежды и затем с чувством перекрестилась.

— Что ты крестишься, бабушка! — спросил ее Владимир, не пропускавший случая пошутить и позубоскалить.

— Как мне, отец, не креститься, — прошамкала старуха, — ведь вот Бог привел под старость вторую царствующую особу видеть.

— А кого же ты еще видела, царя, что ли? — продолжал добродушно Владимир.

— Вестимо, родной, царя; самого нашего батюшку Емельку Пугачева, — неожиданно изрекла самарская древность к великому конфузу присутствующих. Недовольный великий князь поспешил ретироваться, а губернатор, верно, счел карьеру свою навсегда испорченной...»

С царем все приготовления и расчеты были еще сложнее; здесь пускались в ход самые сильные бюрократические пружины, чтобы на месте ничто не сорвалось и чтобы не вышло никакого противоречия между тем, что царь увидит, и соответствующим докладом по этому отделу министра. Путешествие осложнялось еще и общим страхом перед покушениями на царские

поезда, к чему власти были приучены еще при Александре II. Для предотвращения опасности не оставалось иного средства, как военная охрана всего пути. И вот войска собирались, как на войну. Раздавались боевые патроны: на тысячеверстных железнодорожных линиях вводилось военное положение, станции наводнялись офицерами, жандармами и сыщиками. Пассажиры беспокоились, поезда задерживались, товарное движение нарушалось вовсе. Сами служащие на путях рисковали жизнью от пули солдата не менее всякого другого. Достаточно было приблизиться к своей собственной сторожке на разъезде в момент перехода на так называемое «третье положение» (перед проходом императорского поезда), чтобы в сторожей стреляли уже без предупреждения. Под мостами всякое движение прекращалось. Так, бывали случаи убийств плотовщиков, которые лишены были всякой возможности остановить плоты, плывшие по течению под мост в несчастный момент прохода царского поезда.

Таким образом, редкое путешествие русского царя обходилось без нескольких убийств, в которых, казалось бы, и некого было винить. Но только казалось. О каждом случае стрельбы разносилась широкая молва; она, как грозное эхо, удесятряла размеры случая и все приурочивала к царскому имени, внушая крестьянам, что если бы царь сидел дома, то ничего бы не случилось!!

«Первым крупным событием в личной жизни Николая Александровича было его путешествие вокруг света. Снарядить для такой цели наследника престола значило, кроме его образования, поддержать международные связи России, завязать новые сношения с дальневосточными государствами, показать блеск своего царства. Но едва ли задавались тогда этой целью. Ко времени поездки Николая двор его отца был уже совершенно очищен от просвещенных современников Александра II, и там безраздельно царствовали частью простодушные люди, вроде Черевина, делившего время между двором и бутылками вина, или Рихтера, остзейского помещика и свитского генерала, частью подозрительные обделыватели своих дел, как Гессе, дворцовый комендант Гатчины, и его близкие.

Даже врача хорошего не было при царе, так как лейб-медик Гирш отличался заведомым невежеством в своей области. Поэтому не к кому было обратиться за советом, как обставить поездку

сына; о самой причине ее говорили, что наследнику необходимо рассеяться и забыть одну из привязанностей, становившуюся опасной.

Великий князь отбыл в дальний путь, окруженный только своими товарищами по Преображенскому и гусарскому полкам. Единственным сколько-нибудь грамотным человеком в его свите был князь Э. Ухтомский, будущий историограф этого путешествия, не бывший, впрочем, ни ученым, ни писателем. Главным распорядителем назначили старого и полуслепого генерала князя Барятинского, отличавшегося своею ограниченностью даже и в невзыскательном гатчинском кругу. Вероятно, благодаря этой именно черте уже с самого начала экспедиции обнаружилось трение между морскими и свитскими офицерами, дошедшие потом до резкого конфликта между Барятинским и командиром броненосца “Память Азова”, на котором все находились, адмиралом Ломеном. Потом дело уладилось, и твердый адмирал отстоял свою независимость.

Одна за другой мелькали перед равнодушными взорами высоких путешественников европейские и экзотические страны. Красоты невиданной еще никем из них природы сменялись другими. Пересекали моря и океаны, въезжали вглубь чужих государств на слонах, верблюдах, в экспрессах. Но все это было как бы движущейся декорацией в балете “Спящая красавица”, с той разницей, что здесь было не сонное, а пьяное царство. Вино лилось рекой ежедневно, и при самом умеренном употреблении головы должны были находиться во хмелю. Но умеренности не наблюдалось, и князя Николай и Георгий, тоже отправленный в теплые края, не отставали от других. Очень быстро освоились с этими наклонностями путешественников и администраторы государств, принимавших их, — почему всякая надежда на образовательное значение поездки должна была отпасть. Мало того, даже увеселительная часть ее оказалась очень короткой. Полное безделье и кутежи на корабле, где женщины отсутствовали, привели в конце концов к возне, борьбе, а там и просто к дракам; во время одной из полушуточных, полусерьезных схваток Георгий Александрович упал, как говорили, с лестницы, расшиб себе грудь и так ускорил процесс, уже бывший в легких, что его пришлось в первом же порту посадить и отправить в Россию, где он протянул еще несколько лет в одном из горных курортов Кавказа, Абас-Тумане.

Николай продолжал путешествие, стрелял тигров и крокодилов, пользовался всеми запретными удовольствиями в полную свою волю и приближался к Японии, двойную и трагическую роль которой в своей жизни не мог, конечно, предвидеть.

Частью благодаря бестактностям, от которых никто не застрахован в незнакомой среде, частью вследствие невежества, русские гости с самого начала раздражали японское простонародье посещением их храмов, где не умели вести себя в присутствии изображений Будды и других местных богов. За фанатиком, взявшим на себя миссию отмстить за истуканов, дело не стало, и Николай едва не погиб от основательного удара японской сабли по своей легкомысленной голове. Второй удар отразил товарищ по путешествию, греческий королевич Георгий. Японца успели схватить, и вся компания поспешила на “Память Азова” залечивать первую рану, нанесенную Японией России.

Опять же никто не мог тогда предвидеть последствий этого печального случая. Но, с одной стороны, у Николая должен был остаться в душе горький осадок, раздражение против страны, так оригинально проявившей свое гостеприимство; с другой — и это самое важное, — рана оказалась серьезнее, чем думали в первый момент.

Хотя, по-видимому, сотрясения мозга и не последовало, но в черепной кости, слегка надтреснутой от удара, началось разращение костного вещества. Процесс шел в обе стороны, и теперь Николай всегда испытывал в левой половине мозга давление, которое должно отражаться и на психических функциях. Продолжаясь годами, такой болевой эффект приводит к основательному расстройству, или, во всяком случае, изменению интеллекта и нарушает психическое равновесие. В стране, где личная политика государя не исключается и где чиновничество умеет использовать всякий дефект правителя, такое травматическое нарушение здоровья не могло остаться без последствий и для самого народа.

В России приключение не произвело сильного впечатления. Народ, понятно, оставался равнодушным, помня, какие страдания ему приносило последнее царствование, помня, как оно ему приносило лишь голод, нищету, смерть и всегда оставляло его беспомощным в трудные моменты истории, предоставляя выпутываться самому. Нужно сказать, что привязанность русского

народа к самодержцу вообще есть такой же миф, как и любовь его к церкви. “До Бога высоко, до царя далеко”, — говорит русский крестьянин и покорно ложится под розгу или дает взятку какому-либо начальнику.

Интеллигенция была недовольна поведением наследника, предвидя новое ничтожное царствование. В придворных сферах сплетничали и рассказывали небылицы, ожидая возвращения путешественников, чтобы установить истину. Царь должен был быть огорчен искреннее всех, потому что, тяготясь своею ролью, он все же отдавал ей все разумение. И во всяком случае среди мелких корыстных и безвольных людей, составлявших ряды разросшейся царской фамилии, это была, кажется, единственная, определенная, честная и знавшая, чего хочет, величина.

Николай ничего этого не унаследовал».

III

Полковая жизнь

«Путешествие не внесло в жизнь Николая ничего нового, и, вернувшись в Петербург, он снова погрузился в полковую жизнь, отрываясь только на короткие часы лекций или заседаний совета по сооружению Сибирской дороги, председателем которого был еще ранее назначен. По-прежнему его окружали строевые офицеры, среди которых недавние спутники также бесследно растворились, поделаясь впечатлениями от гомерических кутежей и праздно проведенного времени...»

Это была новая ошибка Александра. Снова наследник не готовился к внутреннему управлению страной, но был только введен в обстановку полковой жизни. Хотя Александр сам и не любил военной службы, но ничего не сделал для того, чтобы ослабить ее влияние на сына.

«В те годы, когда наследник маршировал перед ротой и скакал перед эскадроном, гвардия не отличалась по духу от общего тона великосветской жизни Петербурга. Офицеры гвардейских полков были желанными гостями в домах высокопоставленных чиновников и не жили теми узко-обособленными интересами, что свойственны армейским частям, разбросанным по русским провинциям. Но так как жизнь высшего круга была чрезвычайно пуста, ибо ему не на что было употреблять спокойный досуг, обеспечиваемый реакцией, кроме как на развлечения, то и за-

нения гвардейской молодежи сводились к балам, любительским спектаклям и дружеским возлияниям в полковых собраниях. Интересы службы были ничтожны, там все шло по установленному шаблону, и опыт Турецкой войны привел только к перемене солдатской формы на такую же непрактичную, дорогую и неудобную, но красивую...

Была одна печальная сторона военного быта того века... Это появление среди гвардейского офицерства привычек, которые внушают отвращение европейцам и приводят иногда на скамью подсудимых даже и таких влиятельных лиц, как, скажем, гр. Эйленбург, друг императора Вильгельма. Правда, в этом отношении повинны были далеко не одни офицеры, которые только имели в своем распоряжении больше живого товара, в лице солдат и так называемых “кантонистов”, учеников полковых школ. Позорному пороку предавались и многие известные люди Петербурга, актеры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. Скандалы, сопровождавшие открытие за кем-нибудь таких похждений, тянулись непрерывно, но до суда грязные дела обычно не доходили. В этом отношении решительности Вильгельма II, не пощадившего и личного друга, Александру не хватало, и, терпя в своей собственной фамилии столь же порочных членов, он ограничивался изредка отставками отдельных офицеров, деяния которых получали уже слишком широкую огласку. Был, впрочем, один случай и массового изгнания. Двадцать гвардейских офицеров были исключены без суда со службы за порочность, что не помешало им, конечно, сделать потом более или менее удачные карьеры. Удивительней то, что среди них находились два будущих русских архиерея, Гермоген и Серафим, оба оказавшиеся настоящими устоями самодержавной власти, столь сурово с ними самими поступившей.

Курьезно было и то, что пороком страдали не все полки гвардии. В то время, например, когда преображенцы предавались ему, вместе со своим командиром, чуть не поголовно, лейб-гусары отличались естественностью в своих привязанностях. Зато пьянство гусар носило легендарный характер, а в Преображенском полку царила относительная трезвость».

О пьянстве гусар один из них, Ж-в, рассказывал удивительные вещи.

«Пили зачастую целыми днями, допивались к вечеру до галлюцинаций. Иные из них становились как бы привычными, так что и прислуга офицерского собрания (клуба) начинала приспосабливаться к странному поведению господ. Так, нередко великому князю, командиру полка, и разделяющим с ним компанию гусарам начинало казаться, что они не люди уже, а волки. Все раздевались тогда донага и выбегали на улицу, в ночные часы в Царском Селе обычно пустынную. Там садились они на задние ноги (передние заменялись руками), подымали к небу свои пьяные головы и начинали громко выть. Старик буфетчик знал уже, что нужно делать. Он выносил на крыльцо большую лохань, наливал ее водкой или шампанским, и вся стая устремлялась на четвереньках к тазу, лакала языками вино, визжала и кусалась. Сцены подобного рода становились тотчас достоянием городской молвы, — в маленьком гарнизоне ничего не скроешь, но никто не предавался напрасному негодованию, ибо нравы царскосельского общества немногим отличались от гусарского уровня. Случалось запьяневшего командира снимать и с крыши его собственного дома, тоже обязательно голым, где он распевал серенады луне или своей купчихе, быть может, заливавшейся в этот момент слезами», неизменно привязанностью к которой отличался командир полка.

В такой обстановке проходили лучшие годы Николая. Ему неоткуда было получить ни знаний, ни опыта. Никто не вмешивался в порядок его занятий и «никто, быть может, не обращал на то внимания, что организм Николая Александровича начинал уже отравляться алкогольным ядом, что тон кожи лица желтел, глаза нехорошо блестели и под ними образовались уже припухлости, свойственные привычным алкоголикам».

После гусарского образа жизни служба в Преображенском полку была периодом затишья. От крупной роли, которую играл первый батальон Преображенского полка в эпоху дворцовых переворотов, батальон сохранил некоторые привилегии материального характера, которыми пользовались его офицеры и солдаты. Эти привилегии вносили известное разложение в полковую среду, разделяя на патрициев и плебеев службы. Здесь не было того чувства солидарности и товарищества, которое было в гусарской среде; каждый стремился делать свою карьеру, пользуясь связями и близостью к командиру полка, вел. кн. Сергею Александровичу. «Этот сухой неприятный человек, уже тогда влиявший на моло-

дого племянника, носил на своем лице резкие знаки снедавшего его порока...»

Сам Николай был очень прост в обращении; на обедах он выпивал немало вина, шутил, сидя на столе и болтая ногами по воздуху, много курил, угощая папиросами окружающих, и вообще не выделялся среди обычной гвардейской молодежи, как важные и спесивые великие князья, его дяди, видимо, тяготившиеся обществом офицерской мелкоты.

«Оригинальной и симпатичной чертой его характера, чертой, обнаружившейся именно во время службы в Преображенском полку, было поощрение браков офицеров на женщинах, ранее скомпрометированных. Заботы об их карьере, — так как полковое начальство исключало их из своей среды, — Николай брал на себя. Дальше других пошел Нейдгардт, в свое время отличившийся в Одессе как провокатор еврейского погрома. Отданный под суд ревизором — сенатором Кузьминским, он был оправдан сенатом, в то время открыто принесшим юстицию в жертву политике. Позднее уже сам в качестве сенатора Нейдгардт ревизовал интендантство в Царстве Польском. Были и другие подобные же случаи покровительства Николая офицерам, делавшим с точки зрения общества *mesaillances*'ы, и это обещало в самом наследнике развиться чертам доброго семьянина и отца, что вскоре и оправдалось».

IV

Смерть Александра III

«Скромный в своих привычках, конфузливый в беседе с посторонними, ласковый с детьми и очень простой в обращении с такими близкими людьми, каким был Mr. Heath, Александр принадлежал к числу тех, кто не любит думать о своем здоровье, скрывая по возможности всякое недомогание. Благодаря этому, нефрит мог развиваться довольно долго, прежде чем худоба обычно тучного царя сделалась заметной и вызвала заботы и тревогу окружающих. Таким образом, знаменитому московскому диагносту, профессору Захарьину, оставалось только, после того, как его позвали к больному, определить безнадежность положения и указать приблизительный срок, отделявший Александра от гроба.

Этот период царь провел на ногах, не нарушая порядка своих занятий, выезжая даже на парадах верхом на небольшой,

но крепкой и покойной лошади. Вскоре, однако, пришлось увезти его на юг, и вся семья поселилась в Крыму, в Ливадии. Отсюда императору уже не суждено было выехать, и так как нефрит равнодушен к солнцу, озону и к чему бы то ни было, то силы царя заметно убывали. В таком положении он впервые позволил себе сказать, что дворцовая кухня никогда ему не нравилась, и просил, чтоб ему готовила обед простая кухарка. И последние дни жизни русского самодержца были облегчены не сознанием исполненного по отношению к народу долга, не спокойствием за судьбу своего наследника, а нехитрыми русскими блюдами, сделанными руками бабы, быть может, помнившей еще времена рабства.

Длительная агония должна была разбить нервы всех окружающих царя. Да и в обществе и в народе тяжелая болезнь еще нестарого Александра возбуждала сожаления чисто гуманного характера. К тому же необычно было для русских терять монарха в такой патриархальной обстановке. Они привыкли к насильственным смертям царей, к дворцовым переворотам, к таинственности, всегда окружавшей последние минуты самодержцев. Все это вносило некоторую элегичность в суждения и настроения подданных, и даже явления революционного характера как-то сами собой прекратились на время царской агонии.

Во дворце должны были происходить тягостные сцены. Возле умиравшего продолжали бороться разные влияния, в том числе и религиозные. Придворный духовник, Янышев, ненавидел и боялся известного Ивана Кронштадтского, и оба отбивали друг у друга честь напутствовать Александра в лучший мир. Один утешал тихими речами на божественные темы и пользовался своими придворными навыками. Другой старался поразить иступленными выкриками, возложением рук на голову больного, приемами ловкого шамана. В конце концов влияние Ивана как бы возобладало, и после смерти царя между обоими попами возникла недостойная их санов, но характерная полемика в печати, где они отбивали один у другого роль, быть может, казавшуюся им очень важной.

Наряду с молитвословиями шли и драматические разговоры с сыновьями. Утверждали, что Николай одно время упорно отказывался от престола, как бы провидя его тернии. Но так как Георгий присутствовал при отцовской агонии сам уже умираю-

щим, а Миша был мал, и регентство Владимира не улыбалось отходившему в вечность царю, то Николаю пришлось не только согласиться, но и подписать при жизни отца манифест о своем вступлении на престол. Какого ни быть мнения об институте монархической власти или семье тогдашнего царя, трагизм этой сцены понятен и должен был потрясти всех ее свидетелей, а особенно воображение Николая. Словно нарочно, жизнь дарила его ударами, которые должны были так или иначе отразиться и на будущем управлении империей.

20 октября 1894 г. Александр умер, сидя в кресле и в полном сознании. Тринадцатилетнее его царствование навсегда останется связанным с представлением об одном из самых реакционных периодов русской истории...»

«Впервые после смерти императора Александра I царское тело должно было пропутешествовать в траурном вагоне через всю Россию. Это затягивало похороны, удлиняло период обычной в таких случаях заминки всех государственных отправок, но зато позволяло придать церемонии особо торжественный характер, муслируя выражение народной печали.

В скверную, чисто петербургскую погоду по улицам, заполненным войсками, за которыми толпился народ, гроб Александра III был перевезен в Петропавловскую крепость, где мертвые цари разделяют общество с живыми революционерами.

Сложный ритуал перевезения не был выполнен с достаточной отчетливостью. Явная беспорядочность процессии поразила тогда всех ее свидетелей. Никто не знал своих мест. Депутации перепутались, под конец разбрелись кто куда. В группах духовенства, придворных лакеев, чиновников, генералов — всюду слышались громкие разговоры; перекидывались поклонами и замечаниями со знакомыми, занимавшими балконы и окна, весело смеялись чьим-нибудь шуткам. Николай понуро брел за пышной колесницей, не глядя по сторонам, и производил впечатление самого незаметного из всей толпы царедворцев и великих князей человека. Далеко впереди гроба месили осеннюю грязь два мясника, одетые один в белые, другой в черные рыцарские латы, символизировавшие печаль о смерти царя и радость о новом. Но так как никто не присматривал за этими господами, то они окончили тем, что мирно потащились рядом, символизируя весьма наглядно тот хаос, который должен был водвориться в управлении...»

V

**Новое царствование.
Бессмысленные мечтания**

«Николай женился позднее принятого для престолонаследников возраста. Ему было 26 лет, когда при исключительной обстановке, чуть не на другой день после похорон отца, он повел к венцу свою невесту, гессен-дармштадтскую принцессу Алису. Алиса не была незнакомой для России. За несколько лет до того ее привозил к русскому двору отец, великий герцог, уже имевший здесь зятя в лице вел. князя Сергея, женатого на старшей сестре Алисы. Но несмотря на внешнюю красоту, претендентка на руку Николая не имела успеха. Старой императрице не понравилась холодность и замкнутость Алисы; Николай, быть может, сравнивал мысленно эти качества с открытым, живым нравом своей балерины.

И так как Мария Феодоровна как настоящая буржуазная мать в семейных вопросах имела всегда перевес над соображениями мужа, то без особых протестов со стороны последнего сватовство расстроилось, и Алиса, “гессенская муха”, как ее немедленно прозвали в Петербурге, отбыла в родной Дармштадт, где владетельный дом ее родителей не пользовался хорошей славой. Все дети герцога обладали странным нравом, резко отличавшим их от многочисленной немецкой родни.

Несомненно, что молчаливая Алиса должна была затаить в своем сердце обиду на Николая и его мать, и тем большее торжество должно было доставить ей официальное предложение, сделанное незадолго до смерти Александра III. Несмотря на то, что в таком предложении заключалась доля горечи, словно Алису брали за неимением лучших невест, раздумывать было некогда. Выбор между безвестностью и нищенским режимом какого-нибудь захудалого германского княжества и миллионами и блеском, гарантированными пока что русской императрице, был нетруден, и принцесса, с небольшой свитой и скудным багажом, вторично вступила на русскую почву, не ставшую ей, впрочем, никогда родной...»

С каждым новым царем обыкновенно выдвигались у нас и новые люди; это были друзья его юности. Старые же удалялись и коротали время в злой критике своих заместителей. По свите

государя можно было делать заключение и о нем самом. «Так, около Александра II стояли красивые рослые немцы и русские, совмещавшие любовные похождения с прогрессивными взглядами». Все они были лично честными людьми. Александра III окружили такие же простые и грубоватые люди, как и он. Общество их было ему приятно, но никакого влияния такие офицеры, как Черевин, Рихтер, Ванновский, не имели и не стремились иметь. Старые свитские генералы Александра II удалились от двора так же, как впоследствии немногие друзья Александра III отстранились от общества, окружавшего Николая.

«Свита нового царя заметно изменилась к худшему. Неопытность императора, его желание быть приятным своим товарищам юности, таким же неопытным людям, сделали то, что ко двору и свите вскоре начали находить доступ не только сомнительные, но и просто бесчестные типы. Мало того, царь не останавливался впоследствии и перед реабилитацией таких лиц, которые были удалены его отцом за дела чисто уголовного характера. Из них можно назвать хотя бы фон Валя, бывшего петербургского градоначальника; Петра Дурново, известного под кличкой “Бразильского” — за кражу документов из стола бразильского посланника; фон Клейгельса, также градоначальника Петербурга, о котором было уже закончено следствие как о воре. Когда старейший генерал-адъютант Чертков выразил Николаю печаль свиты, в ряды которой поступали такие ошельмованные господа, царь очень сухо заметил Черткову о невмешательстве в его личные назначения. Порядочным членам свиты оставалось под разными предлогами разъехаться из Петербурга, и возле трона сгруппировались дельцы, вроде описанных, да свитская молодежь, заранее готовая одобрить всякое распоряжение Николая, лишь бы его расположение к ним не остывало...»

«В ряде адресов, обращенных к Николаю за два первые месяца его царствования, почти все земства высказались о неотложности коренных реформ во всем строе русской жизни... Выступления эти возбудили живейшую тревогу в чиновничестве, против которого они и были отчасти направлены, и последнее не замедлило принять соответствующие меры. К 17 января 1895 г., когда должен был состояться прием Николаем депутации от дворянства, земств, городов и казачьих войск, царь был вполне убежден, что на его власть готовится покушение

какими-то крамольниками, самозванно решившими говорить от имени всего русского народа.

Все собрались в большой зале Аничковского дворца.

Повсюду в Европе государи произносят ответственные речи или тосты, читая их. К словам этим прислушивается весь мир, и они являются обычно плодом расчетов и соображений умнейших государственных людей. Но в России, где божественный промысел призван оберегать царя от всяких ошибок, считалось, вплоть до созыва первой Думы, как бы непристойным, если новый царь возьмет в руки лист бумаги и прочтет речь, не им лично написанную. И так как Божья милость существовала лишь в виде презумпции, а на деле не вступалась даже в случаях, угрожавших опасностью царской жизни, то предусмотрительные царедворцы вложили в круглую барашковую шапку — измышление Александра III, увековеченное скульптором кн. П. Трубецким в его памятнике царю, — вложили в шапку, говорим мы, текст предстоящей речи. Естественное стеснение, которое должен был ощущать Николай на виду тысячной толпы делегатов, повышенное настроение, диктовавшееся моментом, все это заставляло его волноваться. В этом волнении перепутать отдельные слова не представлялось важным промахом, и царь торжественно провозгласил фразы, ставшие потом нарицательными.

Он говорил между прочим:

“Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель”.

Уверяли, что в тексте стояло слово “несбыточными”. Но как бы там ни было, оно послужило началом не только всеобщего охлаждения к Николаю, но и заложило фундамент будущего освободительного движения, сплотив земских деятелей и внушив им более решительный образ действий...»

С этого момента начинает катиться под гору житейская доля нового императора, и скоро в народе складывается легенда о «незадачливом царе», о рождении его под несчастной звездой, как говорили старые астрологи.

VI Ходынка

Коронация царя в мае 1896 г. должна была укрепить мнение о незадачливости царя. Народное бедствие, гибель тысяч людей на Ходынском поле заслонило собою все, что происходило в эти майские дни в Москве.

«Население Москвы, которая утешалась за перенесение центра управления в Петербург названием “первопрестольной”, перевалило ко времени коронации за миллион. Возле нее разросся огромный фабричный район, притягивавший к себе на целый почти год едва ли не половину взрослого населения московской и окружающих ее губерний. Всю эту толпу простонародья нужно было ожидать на время коронационных торжеств. Между тем прежняя патриархальность давно исчезла под напором нового века и усиливавшейся пролетаризации рабочих, за которыми нужно было очень присматривать, чтобы не вышло из праздника неприятности; тем более, что приходилось блеснуть “порядками” перед делегациями всех держав мира...»

Почти два года было в распоряжении московских властей для того, чтобы подготовиться к коронации. Но вместо того, чтобы что-либо делать, московская администрация была занята интересным зрелищем борьбы между московским губернатором, вел. кн. Сергеем, и министром двора гр. Воронцовым-Дашковым. В то время как руководители организации будущего празднества старались подсунуть друг другу палки в колеса, и московская полиция твердо не знала, к кому и за какими распоряжениями обращаться, дело вершилось без хозяина, а потому и плохо.

«В то время полицеймейстером Москвы был некий Власовский, чрезвычайно взбалмошный, но энергичный человек. Слава о нем шла нехорошая, так как вместе с другим полицейским офицером, богатым и знатным князем Волконским, они пользовались своею властью для устройства столь громких кутежей с женщинами и других скандалов, что ими полна была вся Москва. Заодно с этой компанией был московский городской голова, миллионер Алексеев, впоследствии и убитый братом одной из жертв этого триумвирата. В чаду собственных веселых походов полицейские власти как-то позабыли, что самым ответственным пунктом является народное гулянье на обширном Ходынском

поле. Не соображаясь с топографией его, позволили расставить антрепренеру Двора палатки со сладостями и обычными коронационными кружками в таком месте, что между ними и народом очутился ряд глубоких рвов, каких-то забытых колодцев и тому подобных сюрпризов, в инженерном искусстве известных под именем “волчьих ям”. Но для народа — не того народа, который допускается тайной охраной к созерцанию процессий в качестве суррогата толпы, а народа настоящего, рабочего и деревенского, Ходынское гулянье было единственной приманкой в коронации царя. Поэтому поле еще ночью было занято полумиллионной толпой, к утру сгрудившейся в такую компактную массу, что пробиться сквозь нее не могло бы и пушечное ядро. Вместе с тем в тихую погоду, какая тогда на беду и случилась, углекислота, выдыхаемая такой массой людей и висящая над ее головами, сама по себе должна была повести к повальной асфикции; кроме того, и нетерпение получить подарки действовало возбуждающе. И вот наступил момент, когда раздались крики удушаемых женщин и детей, которые заставили толпу попробовать двинуться; кое-где приняли это движение за сигнал к атаке палаток с лакомствами, и вся громада, как дикое, обезумевшее стадо, шарахнулась прямо на ямы. Не прошло, вероятно, нескольких мгновений, как картина поля была уже такова: поваленные палатки и качели, и семь, восемь тысяч людей, частью трупов, с синими лицами, частью живых еще, но молящих о смерти, у которых грудные клетки были расплющены и кости торчали сквозь праздничные рубашки. Все остальное с воем, плачем и проклятиями мчалось, куда глаза глядят, истерически хохоча, крестясь о спасении и забывая об оставленных на поле родных.

Ужасная весть еще утром стала известна в Москве, а к вечеру всей России. Впечатление было потрясающее, особенно в простонародье, разнесшем преувеличенные слухи далеко, по самым глухим деревням. Все были уверены, что царь отменил оставшиеся балы и праздники и, главное, что очевидный виновник катастрофы, вел. кн. Сергей, который отстоял-таки свою монополию на увеселение племянника, понесет заслуженную кару.

В минуту таких стихийных бедствий цари много выигрывали, показывая народу щедрость, участие и распорядительность. Но Николай сделал только новый ряд промахов. Он, во-первых, поехал на Ходынское поле не тогда, когда оно являло пышную гекатомбу его самодержавия, а когда пожарные фуры развезли

мертвецов, и ямы были засыпаны землей поверх мертвых и живых, внизу копошившихся людей. Во-вторых, царь в тот же вечер был на балу у одного из послов, вместо того, чтобы бросить все и уехать с глаз долой от негодовавшей столицы. Наконец, он дал вел. кн. Сергею рескрипт, в котором обычные казенные выражения царской милости звучали чисто мефистофельской насмешкой над собственным народом...»

Долго еще спустя Сергея встречали в театрах и на улицах криками: «князь Ходынский». Противная и жалкая была картина, как тогдашний министр юстиции, Муравьев, с прокурором судебной палаты, Посниковым, посещали Ходынское поле. Оба были в высоких сапогах, с биноклями через плечо и чем-то подпоясанные. Ведь не могли же они ожидать заранее катастрофы, и значит, в такую ужасную минуту у министра не нашлось более естественной мысли, как о покупке скорее высоких сапог и имитации полководческой наружности; другой должен был копировать начальника, и вот они озирают, наконец, настоящее поле битвы, усеянное тысячами трупов женщин, детей и стариков, настоящую гекатомбу абсолютизма...

«Сумрачен вернулся из Москвы Николай. Жена его хранила еще большее, чем раньше, молчание; странность ее темперамента становилась уже заметной».

VII Пиетизм

«Каким образом внешние признаки культа во дворцах так же, как и на вершинах церковного управления, служащие лишь целям представительства, могли привлечь к себе душу Николая, остается непонятным. В детстве он не отличался особой набожностью, а его юношеский образ жизни и того меньше обещал развиваться пиетизму, столь пригодившемуся для окружающих. Возможно, что избавление от смерти в Борках, спасение от японской сабли и другие сильные впечатления молодости и способствовали появлению веры в особое покровительство божества; при том искусстве, с которым духовники царей связывают это воображаемое покровительство с обрядностью и церковными таинствами, немудрено было использовать подходящую почву и заложить в сознании Николая черты, логически приведшие его, через откровения мощей и паломничества, к спиритизму и гаданью.

Типы ханжей, не различающих веры от суеверия и религии от обрядности, в русской интеллигенции отсутствуют, и даже среди крестьянской молодежи не встречается теперь того невежества, что еще царит в мелкобуржуазном обществе захолустных уездных городков, словно упавших с поезда прогресса и обреченных умиранию. С этими-то косными, ничтожными и пассивными элементами своих подданных оказался на одном уровне и русский самодержец. Подобно им, он аккуратно выполнял все положенные церковью обряды и вертел столы тотчас после обедни. Подобно им, он умилялся в положенные дни над крестными муками Христа и радовался избиениям своих единоверцев и страданиям своих единоплеменников.

Нечего и говорить, что этот врожденный аморализм был как нельзя более под стать грубому, открытому влиянию и что такой практик, как Плеве, не мог пройти мимо свойств монарха, суливших ему полную победу над ним.

Но пока Николай попался в его лапы, прошло еще немало времени, когда его слабым умом и больной волей вертели менее ловкие пальцы...»

Придворные и чиновничьи сферы зорко следили за тем, чтобы не допустить ничьего чужого влияния на царя. «Чужие смычки допускались только на религиозную струну, но царь даже и в этом не мог следовать влечениям своей души, подчиняясь посторонним влияниям.

А душа все время находилась в смятении. Поздний брак, а главное, непрерывный ряд дочерей и отсутствие сына делали шатким положение престола, около которого начали уже разыгрываться аппетиты боковых линий. Что-то комическое было в этом постоянстве рождения девочек; свет встречал бедных малюток хохотом... Оба родителя становились суеверны, видя злой перст судьбы не сходящим со своей жизни. И когда умер чахоточный Георгий, у нового наследника, Михаила Александровича, был отнят традиционный титул “цесаревича” из суеверной боязни, как говорили, что титул этот помешает появлению на свет мальчика. Напрасно Сипягин возил злополучную пару на поклон московским святыням, уверяя, что это поможет прекращению дождя девочек. И, отвратившись от православия, царь и его жена, с легким сердцем примитивных натур, уселись в Крыму вертеть столики, колдовать в обществе французского оккультиста Филиппа, к общему смущению и смеху».

Успеху Филиппа у царя не помешали доставленные известным политическим агентом во Франции Рачковским справки об уголовной судимости Филиппа; царь, уже наладившийся колдовать, не верил никаким справкам и сердился на Рачковского.

«Наступил, однако, момент, когда чародейства Филиппа должны были закончиться. Царица была вновь беременна, и по всему выходило, что мальчиком. Обласканный, осыпанный деньгами и награжденный крупным орденом, французский шарлатан отпавился восвояси. Упорно говорили, что царь написал, по его просьбе, письмо президенту Лубэ, в котором рекомендовал своего нового и “ученого” друга вниманию Французской академии наук. Но для “alliance” было довольно миллиардов, ссуженных России, чтобы еще наводнять ученые учреждения Франции колдунами по рекомендации царя. Просьба Николая не была исполнена, и Филипп обратился к своей обычной клиентуре и очередным конфликтам с французским уголовным кодексом.

На этот раз царица родила даже не девочку, а вовсе ничего (*fausse-couche*). Наступило временное разочарование в столоверчении, предсказаниях и гаданье. Место их снова заняли попы, которым, понятно, и в голову не приходило делать огорченный вид или указывать царю на соблазн, идущий от его спиритических занятий по всей стране. Они спешили использовать свой момент и были счастливы найти в Плеве, в это время забравшем полную силу, хорошего союзника... Паломничества по монастырям уже не годились, бессилие старых мощей не внушало к себе доверия. Нужно было открыть новые, самые чудодейственные, самые свежие, так сказать, мощи. По счастью, не только имелся налицо кандидат из числа неканонизированных монахов, но и легенда, которую легко было связать с затевавшимся религиозным торжеством.

В роду царя передавалось, со слов будто бы очевидца, о существовании предсказания Серафима, отшельника в Сарове (Тамбовской губернии), которое относилось к ряду будущих царствований. Самый текст предсказания был якобы записан одним отставным генералом и, по соображениям Александра III, должен был находиться в архиве жандармского корпуса, бывшем одновременно как бы архивом самодержавия. Поиски не привели, однако, ни к чему. Тогда догадались обратиться в Департамент полиции, и здесь желанная бумага нашлась. К этому моменту неблагоприятно вступил на престол и тот царь, о котором значилась самая интересная часть Серафимова прорицания.

“В начале царствования сего монарха, — говорилось там, — будут несчастья и беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута великая внутри государства, отец подымется на сына и брат на брата. Но вторая половина правления будет светлая и жизнь государя долговременна”.

На суеверного человека подобный документ должен был оказать тем большее воздействие, что совпадал с действительностью. Правда, война и революция были еще впереди, но Ходынка, голод, студенческое и рабочее движение, аграрные беспорядки в Полтавской губернии — все это как нельзя более подходило к первой части предсказания.

Серафим отличался влиянием на простодушную православную массу. Его отшельнический образ жизни, долгие стояния на камне, погружения в ледяную воду, добродушие, молитвенность — все привлекало в основанную им пустынь ищущих утешения церкви людей. После его смерти монастырь имел все основания рассчитывать со временем на канонизацию Серафима, и столетний срок, необходимый для пребывания будущих мощей “под спудом”, т. е. под землей, по справедливости мог быть сокращен для столь выдающегося слуги Господа.

Все это было учтено Плеве. Он знал, что монахи, ради выгод, которые сулят монастырю торжества и обязательные чудеса при открытии мощей, не будут слишком педантичны и отступят от церковных правил, если это понадобится. Министру лучше, чем кому другому, была известна обычная подкладка открытия мощей, служивших к подкреплению не столько православия, сколько монастырских средств. Характерно в этом отношении дело о покушении на икону в курском монастыре, случившееся почти одновременно с саровскими торжествами. Икона считалась чудотворной, но приток богомольцев стал почему-то убывать. Время начиналось смутное; то здесь, то там вспыхивали небольшие волнения, министров убивали. Монахи и задумали поэтому симулировать террористический акт, направленный против святыни. Задача была легка, но техника требовала большой ловкости, так как нужно было произвести взрыв с таким расчетом, чтобы все кругом образа разрушить, а образ оставить невредимым. Чудо явилось бы воочию, дела монастыря поправились бы. Под иконой был прикреплен прочный металлический щит, который должен был направить силу взрыва в безопасном направлении. Ночью монахи заложили свой динамит, зажгли шнур, и Курск

был разбужен оглушительным треском. Немедленно явились власти, не бывшие в заговоре, а поэтому злополучный предохранительный щит фигурировал в первых строках следственного производства, явно указывая на причину и авторов хитрой выдумки. Дело постарались замять, но губернатор Милютин (сын фельдмаршала), не выходявший никогда из пьяного состояния, любил рассказывать о проделке монахов, плативших ему за то открытой ненавистью.

В Сарове не было надобности в уголовных деталях, но дело все же не обошлось без нарушения закона, на этот раз церковного. Дело в том, что совершенно необходимым условием признания трупа за мощи является его нетленность. Аскетический образ жизни таких монахов и почвенные условия монастырских кладбищ, располагаемых обычно в песчаных местах, парализуют процесс гниения, и через известное число лет труп усыхает, превращаясь в коричневую массу с полным обликом человека. В одной из пещер Кавказа были найдены сразу семь таких мощей, которые и были расхвачены местными православными и старообрядческими общинами для своих храмов. Вскоре, впрочем, обнаружилось, что это лишь трупы известной шайки разбойников, загнанных некогда в пещеру и умерших там от истощения.

Итак, был полный расчет на нетленность Серафима. Но како-во же было всеобщее изумление, когда в гробу оказался простой скелет с истлевшими волосами и клочками савана вместо благообразного старца, каким положили в гроб саровского праведника! Местный архиерей, скандализированный плачевным состоянием останков Серафима, отказался подписать протокол, в котором говорилось об их нетленности. Но такая мелочь, как мнение высшего представителя церкви, не могла, разумеется, остановить Плеве, и непокорный архиерей после безуспешного увещания, был просто заменен более податливым.

Вскоре состоялось и самое торжество. Чтобы угодить царю, все приближенные старались пожертвовать что-нибудь новому угоднику. Лампады, ковры, всякие украшения стекались в счастливый монастырь вместе с богомольцами, заранее предвкушавшими великолепие церковных служений, обилие трапезы, созерцание чудесных исцелений. Калеки, убогие, эпилептики, ревматики съезжались со всех окрестных губерний, и полиции было немало трудов регулировать это непрерывное стечение народа. Погода благоприятствовала. Поля, покрытые жалкою растительностью,

избы, из коих утварь была продана за недоимки, истощенные голодовками люди, грязные дети — все было скрыто соответствующими декоративными измышлениями, которые так хорошо разработаны для обмана великих мира сего. Царь, искренне увлеченный всеми перипетиями канонизации, молился в церквах, у камней и источников воды, носил образа и дубовую колоду с серебряными украшениями, в которую положили скелет Серафима, и думал, верно, что и все вокруг с тою же светлой радостью и надеждой поклоняются новоявленным святым мощам. Но, кроме больных и наивных крестьян, здесь не было, быть может, ни одной души, ни одного сердца, бившегося в контакт с царевым. Все, начиная с хитрых монахов и Плеве и кончая последним лакеем свиты, таили про себя свои думы, учитывали настоящие или будущие барыши царской “простоты” и боялись пропустить всякий лишний случай демонстрации своего усердия и религиозности. Над скромным гробом отшельника, так хорошо знавшего цену людям, от которых он скрывался в сосновом бору Сарова, разыграна была настоящая вакханалия лукавства, лицемерия, двоедушия, всяческого обмана. Казалось, именно здесь, под кровом святости, разверзлась вся бездна человеческой порочности, и монастырские колокола несли весть о неслыханном глумлении над верой в безоблачные небеса, к престолу самого божества!

Царь уехал, выкупавшись в прудике Серафима, успокоенный и за появление наследника, и за наступление светлой половины своего правления. Но пророчество Серафима не все еще было исполнено судьбой, и, не вовремя потревоженный, он как бы сам готовился принять участие в разгроме, уже подготовлявшемся в то время языческой Японией.

Все, кто не мог или не успел быть в Сарове с царем, спешили съездить потом и довести о своем подвиге непосредственному начальству. Тамбовский монастырь стал настоящим чиновничьим Лурдом, где вымаливались места, чины, ордена, сокрытия преступлений, и все за счет веры Николая в чудесную силу серафимовских костей...»

Тысячи изображений Серафима распространялись по провинции; всюду появлялись его образки, часовни, храмы и благотворительные учреждения во имя его. Все верующие ждали чудес от святого. Но скоро прошло увлечение. Наследник не появлялся, и чиновники не получали новых милостей. Саров был забыт и вернулся к своей прежней скромной роли местной святыни.

Когда ни иконы, ни святые не дали удовлетворения царю, когда среди юродивых русской земли царь стал искать людей, которым Бог в полноте открыл знание, и камарилья скоро угадала это душевное стремление Николая.

«В Козельском уезде Калужской губернии расположена живописная Оптиная пустынь, ныне разросшаяся в огромный монастырь. Она славилась благодаря отшельнику Амвросию, дававшему советы, утешавшему в скорбях, умевшему говорить и с крестьянской бабой, и с великим князем. После его смерти дела монастыря значительно пошатнулись; нужно было, за отсутствием святого, изобрести его. Тут же, в городе Козельске, нашелся и заместитель Амвросию, юродивый мещанин Митька, с детства лишенный членораздельной речи, постоянный клиент монастыря. Нашелся другой мещанин, Ельпидифор, который заявил, что ему дан дар понимания Митькиного воя, и, так как проверке такое заявление не подлежало, ему охотно поверили. С той поры оба мещанина перекочевали на постоянное житье в монастырь, и богомольцы начали разносить славу нового блаженного, в непонятные звуки которого, столь же непонятно толкованные переводчиком, можно было вкладывать тем более смысла и значения, чем они были бессмысленней.

Царь никогда не узнал бы о Митьке, если бы его флигель-адъютант Николай Оболенский не был козельским помещиком и если бы в. князь Константин не жил несколько лет подряд вблизи Оптиной пустыни на даче. Другой брат Оболенского, считавшийся почему-то другом философа Владимира Соловьева, с которым он на самом деле не имел ничего общего, занимался — для вида или искренне, это безразлично, — религиозными вопросами и был короткое время обер-прокурором синода. Этих господ было слишком довольно для того, чтобы Митька мог очутиться в Царском Селе. С Митькой привезли и толмача (переводчика).

Обоих вымыли, одели и показали Николаю. Митька, увидав царя, замычал. Спросили мещанина Ельпидифора: что это значит? Тот, видимо, приготовившись, ответил довольно удачно:

— Детей повидать желает.

Чадолюбивому царю это очень понравилось, и детей немедленно вывели. Взглянув на такую милую и веселую компанию, юродивый дико завопил и проявил даже некоторое возбуждение, которое переводчик не замедлил объяснить.

— Чаю с вареньем просит, — сказал он. Нелепость объяснения кинулась даже в близорукие глаза царя. Чаю дали, подержали некоторое время во дворце и отправили на родину. Но всего примечательнее то, что спустя некоторое время Митьку вновь выписали для каких-то действий. На втором визите слава его, впрочем, и погасла. При дворе начал орудовать новый святой, казанский мужичок. Этот был одарен всеми нужными для тонкого шарлатана свойствами и так ловко использовал поголовное невежество и нравственную испорченность камарильи, что устроился и сам хорошо, и чиновников в лучшие места выводил. Одно время многие назначения шли через него. Неотразимым приемом его было выплевывание из своего рта в рот какой-нибудь придворной ханжи так называемого “причастия”. Трудно верится всему этому, но факты слишком общеизвестны, чтобы могло возникнуть сомнение в них».

VIII

Перед Японской войной

В конце 1903 г. неизбежность войны с Японией стала настолько очевидной, что приготовления к ней почти перестали скрываться. Между резиденциями царя и его азиатского наместника Алексеева происходит оживленный обмен телеграммами.

Алексеев при всей своей самоуверенности и неосведомленности все же знал о подготовке Японии, для которой Корея была нужней, чем для России, и не решался начинать войну на свой, так сказать, страх; поэтому нужно было договориться с Царским Селом о том, что считать за *casus belli*, когда нужно обидеться и заступиться за честь империи. Условились на том, что если японцы перейдут 38-ю параллель северной широты, то Алексеев начинает военные действия. Депеша царя кончалась традиционным призывом благословения Божия на русское оружие и самого наместника.

На 19-е был назначен большой бал в Зимнем дворце. Войны ждали с часу на час и почему-то были уверены, что царь сам объявит о ней собравшимся гостям. Но все шло своим порядком, о войне никто не говорил, только общая нервность выдавала важность момента.

Наконец, во время ужина за царским столом зашла-таки речь о конфликте с Японией, и притом речь с самим Николаем. В записках очевидца читаем:

«За ужином возле царя сидела жена посла в Лондоне, графиня Бенкендорф. Вдруг посреди незначащего разговора она спрашивает Николая Александровича:

— Ваше Величество, будет у нас война с Японией? — И видя, что даже этого застенчивого человека покорила ее бестактность, добавила:

— Я спрашиваю вас не из любопытства, и не как жена вашего посла в Лондоне, а как мать. Ведь у меня сын в Порт-Артуре, на эскадре!

Семейные чувства всегда трогают царя, и он тотчас же ответил:

— Войны не будет. Я ее не хочу и сделал все, чтобы ее не было...»

Это было сказано тогда, когда телеграмма о 38 параллели была отредактирована. Что же царь: сознательно ли затемнял правду, или наивно думал, что Япония откажется в последний момент тягаться с Российской империей?..

Итак, у царя танцевали за неделю до начала разгрома. Здесь кстати будет привести и характеристику этих царских праздников, сделанную бывшим гвардейским офицером. При очевидной преувеличенности и устарелости она характеризует взаимоотношения царей, чиновничества и дворянства, оставшиеся и поныне теми же. Вот что пишет автор.

«Не знаю, как теперь, но двадцать лет назад придворные балы служили прекрасным экзаменом культурности высшего петербургского света. Не говорю о том, что пускались в ход всевозможные средства, чтобы попасть на бал, а попав, подвертываться почаще на глаза великих мира сего; это — обычные свойства людей, в долголетней материальной зависимости от правительства или двора потерявших чувство собственного достоинства: обычные свойства профессиональной прислуги, одинаковой всюду, где сохранилась возможность их проявлять. Но что было поразительно, так это стадная жадность на такие вещи, которые у каждого гостя и дома могли найтись. Дело в том, что вдоль большой, прелестной залы Зимнего дворца, где свободно помещались тысячи две человек, тянулся коридор, сплошь занятый открытым буфетом с чаем, тортами, конфетами, фруктами и цветами. Считалось почему-то, что маленькие придворные карамельки в простых белых бумажках отличаются особенным вкусом; они пересыпались другими сортами, не привлекавшими алчного внимания приглашенных; фрукты же и цветы — самые обыкновенные гиацинты, гвоздики, кое-где ландыши, хорошие

груши и яблоки, вот и все. Забавно было смотреть, как увешанные звездами и лентами сановники и нарядные дамы лавировали по залу, становясь так, чтобы и царский выход не пропустить, и к дружной атаке буфета не опоздать. И вот, когда кончился третий тур польского и царская фамилия скрывалась на минуту в соседней комнате, вся эта чиновная и военная знать кидалась, как дикое стадо, на буфет, и во дворце русского императора, в конце XIX века, происходила унижительная сцена, переносившая мысль к тем еще временам, когда, ради забавы, русские бояре кидали с высоких крылец в толпу черни медные монеты и пряники, любясь давкой и драками.

Столы и буфеты трещали, скатерти съезжали с мест, вазы опрокидывались, торты прилипали к расшитым мундирам, руки мазались в креме и мягких конфектах; хватали, что придется; цветы рвались и совались в карманы, где все равно должны были смяться; шляпы наполнялись грушами и яблоками. И через три минуты нарядный буфет являл грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных сладких пирожков плавали в струях шоколада, меланхолично капавших на мозаичный паркет коридора. Величественные придворные лакеи, давно привыкшие к этому базару пошлости, молча отступали к окнам и дожидались, когда пройдет порыв троглодитских наклонностей; затем спокойно вынимали заранее приготовленные дубликаты цветов, ваз и тортов, и в пять минут приводили все в прежний вид, который и поддерживался до конца бала, так как начинались танцы, и от времени до времени государь проходил по коридору и залам, говоря по паре слов знакомым ему чинам».

Тот же автор повествует далее о том, как на таких балах делались карьеры и как вообще цари пополняли свои свиты.

«Мне рассказывал гр. Ф. Э. Келлер, как он попал в флигель-адъютанты к императору. У Келлера смолоду была особенность — одна половина бороды седая, другая рыжая.

“Стою я на балу, — рассказывал он, — в коридоре; проходит царь (судя по времени, описываемому здесь, Александр II, тем более, что Александр III не говорил уже “ты” офицерам и чиновникам), и говорит:

— Когда это ты, Келлер, обреешь свою бороденку?

Я, не долго думая, бегу в комнату первого попавшегося придворного лакея, прошу бритву, наскоро сбрываю бакенбарды и опять являюсь в залу. Снова проходит Александр, взглядывается в меня:

— Ты Келлер?

— Так точно, Ваше Императорское Величество!

— Поздравляю тебя флигель-адъютантом!

В другой раз Александр II шел по Летнему саду зимой; там делались для гулявших высокие мостки. Навстречу попался П., тогда еще молодой сапер, огромного роста*; чтобы дать дорогу царю, П. сошел с мостков, увяз по колена в снегу и все-таки оказался выше Александра, который за это и взял его в свиту”...»

Наконец, находим описание конца придворного бала.

«Котильон подходит к концу, скоро ужин; для трех тысяч человек все сервировано в нескольких больших залах; танцующие имеют привилегию на так называемый “золотой” зал с золочеными колоннами, где на небольшом возвышении стоит и царский стол, покрытый цветами. Еще задолго до открытия дверей в этот зал возле них начинает толпиться народ, преимущественно дамы, старые генералы и те из не танцующей молодежи, кто знает, что в золотом зале посвежее провизия — ибо приготовить большой ужин на три тысячи душ даже и придворная кухня не может меньше, чем в три-четыре дня. Попал и я раз, признаться, в эту толпу, влекомый желанием получше поесть. Со всех сторон окружали меня женщины в открытых бальных туалетах, притом исключительно пожилые; недостатки бюстов возмещались искусным размещением наличного материала на каких-то полочках, которые я поневоле созерцал, будучи выше их ростом. Спины, покрытые прыщами и припудренными пятнами старческой экземы, острый запах пота, не заглушаемый никакими духами, все это создавало атмосферу лисятника, а не дворца; наконец, мне просто стало больно, так напирали со всех сторон. Градоначальник Грессер (погибший впоследствии от впрыскивания себе какой-то молодящей жижи) с искаженным злобой лицом заслонял своей огромной фигурой заповедную дверь и тщетно призывал дам не тискаться. Но вот замер последний звук музыки. Грессер распахнул дверь и немедленно был отброшен в сторону потоком женских тел, стремившихся занять места за столами». И т. д.

Не совсем так, но в этом же роде протекал и бал 19 января 1904 г. И не успели улечься его впечатления, как в истории России наступил роковой для династии поворот.

* Вероятно, Прескотт, ныне инженер-генерал.

IX Война

«26 января, в то самое время, когда офицеры порт-артурской эскадры веселились на именинах своей адмиральши и когда в темноте рейда блестели только освещенные иллюминаторы броненосцев, три японских миноносца подошли, не торопясь, без шума к самым бортам “Цесаревича”, “Ретвизана” и “Победы” и выпустили свои мины.

Так началась война. В эти же ближайшие к 15 января дни царь поражал всех веселостью и легкомысленным отношением к начинавшейся драме.

Так, когда кишиневский губернский предводитель дворянства Крупенский, представляясь ему, заговорил о потоплении судов, сделав приличную случаю мину, Николай небрежно заметил:

— Ну, знаете, я смотрю на это, как на укусы блохи!

На общество начало войны произвело иное впечатление...»

В отрезанном Порт-Артуре гарнизон умирал от тифа, цинги и японских шимоз. Флот погибал в Порт-Артурской бухте; наши снаряды не долетали до японских судов, а с них безошибочно расстреливали русские броненосцы. Всех потрясла весть о трагической гибели «Петропавловска», который затонул, наткнувшись, быть может, на свою мину; вместе с броненосцем погиб и лучший из адмиралов Макаров.

«В день гибели Макарова должность министра двора исполнял один из развратнейших генералов свиты Рыдзевский — барон Фредерикс был в отпуску. У Рыдзевского в три часа дня был назначен доклад царю. Крайне огорченный тяжелой вестью с войны, Рыдзевский с ужасом думал о той сцене, которая должна была разыграться в кабинете, где искренне любимый им Николай останется с ним наедине и даст волю обуревающему его отчаянию. Утром была надежда на отмену доклада, но в 3 часа Рыдзевского вызвали во дворец.

— Приезжаю я, — рассказывает он, — оказывается, государь на панихиде по Макарове. Ну, думаю, еще хуже вышло все. Но вот служба кончается, Николай в морской форме возвращается из церкви, весело здоровается со мной, тянет за руку в кабинет и говорит, указывая на окна, в которых порхали крупные снежинки:

— Какая погода! Хорошо бы поохотиться, давно мы с вами не были на охоте. Сегодня что у нас — пятница? Хотите, завтра поедем?»

Совершенно сконфуженный и сбитый с толку, Рыздзевский пробормотал что-то в ответ и, скомкав свой доклад, поспешил откланяться. В приемной он встретился, однако, с приятелем и несколько минут поговорил с ним. А когда спускался по лестнице в вестибюль, то в окно увидел Николая, стрелявшего в саду ворон из небольшой винтовки.

Невольно просится сопоставление с Людовиком XVI, отмечавшим дни, когда не было охоты, словами: «Ничего не было», хотя именно тогда его задерживали в Париже революционные вспышки, и французский трон трещал по всем швам.

С тою же развязностью встречал царь и дальнейшие поражения своей армии. Нельзя думать, что такое отношение покоилось на полном нравственном уродстве, тем более, что, наряду с равнодушием к народу, Николай проявлял нежную любовь к детям и милое внимание к отдельным лицам из придворного и чиновничьего мира. Вернее, здесь наблюдалось временное притупление мышления, вызванное рядом неудач и ощущением своего бессилия. Это соображение подтверждается и тем сопротивлением, которое в это время царь обнаруживал всякому длительному разговору или докладу, посвященному войне и внутренним делам, приводя неприятную беседу скорей к концу. Он точно зажмуривался от страшных картин синемаатографа реальности, смутно предчувствуя, что они являются лишь прелюдией к драме, личное участие в которой сделается для него непредотвратимым.

«В меланхолическом покое царскосельских садов глохли впечатления страшных вестей, и битва при Лаояне не казалась тем, чем была, т. е. величайшей из битв, известных военной истории мира, а обычной неудачей, происшедшей от того, что какой-нибудь полк или дивизия опоздали на десять минут.

Здесь, на мягком ковре детской комнаты, быть может, изображавшем в этот момент море, и где шесть веселых детских телец копошились, играя в морскую войну, весть о Цусиме не звучала как *memento mori* для престижа России и самого самодержавия, а была досадной помехой бывшей в разгаре забавы.

Здесь, наконец, на какой-нибудь охоте, преследуя с гончими стадо испуганных лосей, мчавшихся в панике через кусты и канавы, не хотелось думать о том, что под Мукденом такими лосями были русские полки и что японские маршалы испытывали те же чувства, что и царственные охотники в Беловежье или Гатчине...»

X После 17 октября

Манифест 17 октября является началом новой эры в русской истории. Он мог бы принести внутренний мир для страны, если бы правительство было бы искренне, а Николай честен в держании слова. Но ясно было для всех, что манифест для царя и правительства только вынужденная уступка, от которой они были бы не прочь отказаться. «Так как бурная сцена во дворце, где великие князья нападали на царя чуть не с кулаками, а женская половина истерически рыдала, сделалась тотчас же известной, то можно было с уверенностью рассчитывать на скорое раскаяние Николая в своем решении подписать манифест...»

«Неделя после манифеста 17 октября навсегда останется одним из самых сложных и поучительных моментов русской истории. Словно во главе правления был не Николай II, а гениальнейший из детей сатаны, сеявший одной рукой добро, а другой зло, чтобы хохотать над общим смятением, натравливать друг на друга целые общественные классы, утомить самые несокрушимые энергии, развратить и обездолить целое человеческое поколение.

Действительно, в те самые дни, когда царь подписывал указ об амнистии, правда далеко не полной и не беспристрастной, когда он возвращал Финляндии ее автономию, отнятую в 1899 г., когда он слагал с крестьян, из страха аграрной революции, выкупные платежи на десятки миллионов рублей, когда, наконец, упразднял треповскую диктатуру, — он подписывал также и все то, что подсовывал ему Трепов, клялся великим князьям в несокрушимости самодержавия, посылал генерал-адъютантов и карательные отряды в охваченные волнениями губернии, назначал министром внутренних дел “Петрушку” Дурново, а Трепова брал к себе поближе в дворцовые коменданты. Он давал ему при этом право руководить всеми делами Департамента полиции, снабжал средствами для погромной деятельности, которую называл “организацией общественных сил”, и готовился повесить на Рачковского Станиславскую звезду с приложением 75 тысяч рублей за его провокаторскую работу. 20 января 1906 г. деньги эти и были вручены Рачковскому...»

Начались дни погромов. «Схема действий была проста и всегда одна и та же. Жандармские отделения получали прокламации,

инструкции и деньги. Губернаторы получали предложения “допустить” патриотическую манифестацию; военному начальству предлагали “не отказывать” в оркестрах музыки, духовенству — в молебнах на площадях. Срок назначался трехдневный, как при еврейских погромах. В прокламациях, распространявшихся на базарах и окраинах, к “жидам” нужно было присоединить только студентов, земцев и вообще “крамольников” — все остальное должно было протекать по шаблону. Погрому политическому предпосылалась, правда, чиновничья демонстрация. Губернатор и архиерей, в сопровождении чиновников и военных, проходили с казенными флагами и портретами царя, выданными из присутствий, по главным улицам города. На площади из толпы требовали молебен, духовенство облачалось и служило. В это время в задних рядах толпы бывало уже немало пьяных, среди коих сновали агенты Трепова. Эти же агенты толклись возле губернатора для имитации якобы народных требований посылки царю патриотических депеш. Губернатор выражал полную готовность, телеграммы посылались, и на другой день царский ответ служил к началу настоящего уже погрома, с убийствами, разбитием винных лавок, поджогами. На четвертый день все, как по мановению ока, прекращалось, и губернаторы вводили обязательные постановления о недопущении вообще никаких сборищ...

Нет возможности перечислить даже наиболее выдающиеся случаи. В Томске, например, был подожжен театр, в котором сгорело тысяча человек, причем губернатор Азанчевский-Азанчевев смотрел на это живописное зрелище из окна своего дворца, а архиерей благословлял погромщиков с соборной паперти. Между прочим, когда назначали в Томск этого губернатора, царю хорошо было известно, что он простой вор-рецидивист, избегший суда и тюрьмы только потому, что жил и служил в России. Впрочем, Николай не постеснялся однажды формулировать свой взгляд на взяточничество и казнокрадство, говоря, что если полицейский возьмет слишком много, то это преступление, а если «по чину», то это как бы дополнение к жалованию. Вот почему, когда погромщики обнаружались и когда оказалось, что большинство из них было одновременно и ворами, это последнее обстоятельство не помешало царю миловать и награждать их наравне с честными, так сказать, громилами вроде Нейдгардта...»

Погромное усердие создавало карьеру губернаторам. «В Минске Курлов устроил настоящую бойню заманенной к вокзалу

мирной толпы; войска давали перекрестные залпы по бегущим и перебили множество людей без малейшего сопротивления. Курлов вскоре был повышен по службе и некоторое время состоял товарищем министра внутренних дел Столыпина; его даже прочили на место последнего, так как царю импонирует его решительность. Этот же Курлов, будучи несколько раньше вице-губернатором в Курске, сек розгами крестьян после манифеста об отмене телесных наказаний.

Все это хорошо знал Николай. Он не переживал в эти дни тех тяжелых мучений, что выпадают на долю людей, хотя бы и жестоких по натуре, но сознающих свою ответственность за пролитие крови. Наоборот, последующее отношение царя к подвигам карательных отрядов и его личные симпатии к таким администраторам, как фон дер Лауниц, указывают, что кровавые сцены погромов доставляли ему известное удовольствие... Близкие люди, как Трепов, Рачковский, в. к. Владимир и т. п., знали, что нет той картины человеческих страданий, которая могла бы тронуть это высушенное вырождением сердце, нет предела полномочий, которые царь не был бы готов дать кому угодно для непощадного избиения своих подданных. Эти господа поэтому покойно печатали прокламации в департаментах полиции. Их слуги в провинции, сделавшие потом все поголовно прекрасные карьеры, разбрасывали эти прокламации по городским улицам и площадям, как Климович, Цихоцкий и др., или собирали черносотенные дружины, как жандарм Будоговский. Генерал Богданович писал тексты тех воззваний, что назначались для войск, и по стилю они не лишены своеобразной красоты и ловкости. Трепов сочинял мало; ему больше нравилось простые, грубые обороты, открытые призывы к убийствам. Классическими стали его слова: "Патронов не жалеть!", которыми он встретил радость Петербурга о конституции...»

«Устремив все внимание на города, правительство невольно ослабило надзор за деревней, где пропаганда не прекращалась со времени первых волнений в Полтавской губернии. С ней не могли совладать ни стражники, ни войска, ни губернаторы. Странно было бы ждать при этом проявлений культурности от массы, которую систематически держали в невежестве. В течение столетий она находилась под давлением духовенства и боярщины, и только сорок лет тому назад земские учреждения внесли первый свет туда, где царила власть тьмы. И крестьяне разорвали вековые

помещичьи гнезда с тою же ненужной жестокостью, с какой дети их разоряли весной птичьими...»

«Убедившись в том, что вожжи окончательно выпущены из рук, гражданские власти, правительство передало все дело успокоения в руки военных. И мы вступаем в фантастическую полосу русской истории, когда, наряду с приготовлениями к выборам в первый парламент, шла истинная вакханалия военных разгромов, диктатура солдат и офицеров, когда установилось какое-то карательное самодержавие...

Карательные отряды отправлялись внутрь страны, напутствуемые благословениями царя и циркулярами начальства, развязывавшими все руки и обещавшими безответственность. “Арестованных не иметь”, — говорилось часто в приказах, и это означало, что все подозрительные встречные будут перестреляны без суда и следствия... Такие офицеры, как Сивере, считали себя мягкосердными, когда из револьверов добивали корчившихся во рвах латышей. На рапорте военного министра о предании суду одного из подобных командиров царь написал: “Молодец!”, чем сконфузил честного шведа Редигера, понявшего тогда, с кем имеет дело...

Вероятно, злоупотребления описанного типа были бы значительно реже, если бы не стала общеизвестной печальная любовь Николая к историям самоуправства, к описаниям пожаров, экзекуций, расстрелов. Его приводил в настоящее восхищение тамбовский губернатор Лауниц.

Это был гусарский генерал, за злоупотребления по какой-то опеке предназначенный к исключению из дворянства Харьковской губернии, и так же ловко лавировавший между русскими судами, как и между эскадронами своего полка. Что губерния была спровоцирована Лауницем, явствует из того, что, когда он был назначен в Петербург, беспорядки прекратились в день его выезда из Тамбова. Он совершенно не знал удержа. Арестовывал адвокатов во время защиты на суде, засекал до смерти крестьян деревень, по ошибке принятых за беспокойные, и довершал цикл своих преступлений аферами по скупке по дешевым ценам земель и продаже их по высшим поземельному банку.

Царь так любил за все это Лауница, что назначил его петербургским градоначальником и в свою свиту, где стало еще одним мошенником больше...»

XI Черная сотня

«Николай никогда не мог возвыситься до примирения со своей участью, участью монарха, у которого народ отнял им же некогда дарованное самодержавие. В его темпераменте, быть может, еще больше, чем в традиционном невежестве русских царей и их необразованности, заложены были черты, на которых так легко было играть союзникам. Он глубоко затаил в себе ненависть ко всему, что так или иначе соприкасалось с днем 17 октября, днем слабости, днем измены клятве о самодержавии, днем радости русского народа. С истинно византийским лукавством Николай продолжал участвовать в приготовлениях к созыву Думы, подписывал указы конституционного характера, принимал депутации. Но помыслы его склонялись всегда к перевороту... Сделать в этом направлении можно было, конечно, немного... Не имея ничего за собой в стране, оставалось и бюрократам, и придворным, и самому самодержцу опереться на черную сотню. Только она предлагала (за вознаграждение, понятно) свои услуги. Этим шагом союз русского народа поднялся на небывалую высоту. И одновременно полетел в пропасть всесветного позора и презрения Николай Романов...

Аудиенции всяким черносотенным депутациям делаются заурядным явлением. Здесь не нужно готовиться к дипломатическим речам, к обходам неприятных вопросов, к притворным знакам внимания; созерцая зверские и тупые лица союзников, в том числе ломовых извозчиков и просто хулиганов, можно было и самому распоясаться, выражать свои мысли в кратких, но многозначачих словах, коими впоследствии вполне освящались и оправдывались погромы.

“Объединяйтесь, истинно-русские люди”... “Благодарю за службу”... “Вы мне нужны”... “Буду миловать преданных”... — все крепко запоминалось теми, кто из погромов делал себе карьеру. И царь хорошо держал эти слова, не то, что обещания манифеста или слова, дававшиеся земской делегации или первой Думе. В Николае черная сотня имела достойного капитана, настоящего “отца-командира”, как зовут солдаты хороших начальников...

Мы достаточно долго останавливались на фигуре русского царя, чтобы иметь право задать себе, и не в первый раз, вопрос о том, не сказываются ли в нем черты двойственности, обычной в этих

сферах, и возможной наследственности, в которой не может быть сомнения. Полагаем, беря en bloc всю психологию Николая, что двойственность существует в действительности. Патриархальность и измены жене; любовь к детям и казням; скромная обстановка жизни и поощрение роскоши у других; ласковость в обращении и нанесение удара в спину (отставка гр. И. Толстого, которому царь сказал, что желает оставить его на месте, в то время как Кауфман был уже назначен им министром народного просвещения); наконец, и официальная двойственность — знаменитые указы 18 февраля 1905 г. о Думе и против Думы — все рисует нам психический облик Николая в двух красках. Но был уголок его души, ярко сказывавшийся и в жизни, где царь оставался всегда неизменным, всегда ровным, всегда откровенным, своеобразно честным и верным в слове, это — в его привязанности к черносотенству и контрреволюции. И вовсе не потому, что он как-нибудь особенно понимал самодержавие, пользу России, верил в провиденциальное значение монархического принципа; и даже не потому, что путем реставрации хотел выполнить свою клятву о поддержке существовавшего тогда строя. Нет, он просто ненавидел прогресс, культуру, цивилизацию, все то, что заставляло думать, перестраивать свою и чужие жизни и отношения, работать, совершенствоваться. Эту ненависть переносил он и на людей, не следовавших за ним в его направлении и которых он огулом зачислял в ряды революционеров.

— Вот бы всех этих революционеров да утопить в заливе, — мечтательно изрек он в беседе с одним общественным деятелем, глядя в окно на мутные финские воды, схоронившие в себе тела казненных матросов.

Когда революция пошла на убыль, а черносотенство расцвело, и газета “Вече” сделалась органом погромов и предсказателем убийств, которые и совершались, гр. С. Витте говорил однажды с одним из близких себе людей о царе. По старой чиновничьей привычке он рассыпался в льстивых и ненужных эпитетах, называл его ангелом и т. п.

— Ну, граф, — перебил его собеседник, — скажите же, однако, о политических убеждениях государя; теперь ведь всякий должен иметь их.

— О политических убеждениях? — ответил Витте, и лукавый огонек блеснул в глазах обиженного царем бюрократа: — Газету “Вече” знаете?

— Знаю, — пробормотал изумленный гость.

— Так вот, они вполне соответствуют направлениям этого органа...»

Это было правдой, правдой до конца. Открытая проповедь контрреволюции, шедшая с престола, донельзя стесняла правительство, которое не могло идти за царем в это болото. Столыпин употреблял все меры, чтобы бороться с афишируемыми царем взглядами, и не раз, по совету министра, в Государственной думе Гучков и Милюков выступали против Союза русского народа, клеймя его членов названиями «убийц», «погромщиков» и т. п. Но все было тщетно, и царь тоже не раз говаривал преданному слуге, Петру Аркадьевичу: «Отчего Вы не запишетесь в Союз русского народа? Ведь Дубровина теперь там нет».

Да, Дубровина-то не было, зато Николай оставался. Люди по-немногу отвращались от него.

ХII

Открытие Думы

На 27 апреля 1906 г. было назначено открытие Думы. «В Петербурге царило особенное оживление; в министерствах перебирали завалявшиеся проекты реформ, но не находили ничего дельного, никакой программы; в чиновничьих и придворных сферах учитывались шансы сокращения окладов и контроля наград; во дворце готовились к приему обеих палат. В тронной зале Александра Федоровна сама раскладывала по креслу, на котором должен был сидеть Николай, горностаевую мантию, продолжая не скрывать злобы и ненависти к новым учреждениям и чуя женским инстинктом, что муж ее пользуется такой же любовью народа, как и она сама. Немудрено поэтому, что в царской семье ждали дня 27 апреля как своего рода смертного часа. Абсолютизм готовился скрепить акт 17 октября всенародным объявлением о рождении и крещении своего преемника — российского конституционализма. Чем больше выяснялась радость по этому случаю населения столицы, тем смущеннее становились власти. И прокладывая свой путь через толпы, запрудившие все прилегающие ко дворцу улицы и набережные, по молчанию, провожавшему мундиры, и крикам приветствия по адресу черных депутатских одежд можно было безошибочно определить безвозвратность былого престижа самодержавия...

Николай вошел в тронный зал с царицей и стал между Думой и Советом, пока попы служили молебен. Его лицо, с припухшими

веками глаз и заученной складкой рта, не выражало смущения. Привычка быть на виду у сотни глаз, а главное, искренняя набожность, проявляемая при всяком богослужении, заслоняли страх перед минутой приветствия людей, явившихся сюда живым результатом волнений последнего времени; людей, едва ли привезших с собой прочную привязанность к династии, доверие к желанию правительства работать вместе.

По окончании службы царь взошел по ступеням на трон, присел на секунду на оставшийся непокрытым мантией кусочек его сидения, потом встал и, взяв у Фредерикса, министра двора, лист бумаги, прочел громко и внятно свою речь, доселе остающуюся единственным непосредственным обращением царя к депутатам парламента...

Нерешительность выражений этого документа, подчеркивание вотчинного взгляда на страну, игнорирование правды, создавшей день 27 апреля, обычное празднословие и злоупотребление Божьим именем, а главное — полное умолчание об амнистии, — всего было слишком довольно для того, чтобы определилось единодушное отношение Государственной думы к царским словам. Не сговариваясь, не думая о последствиях, депутаты ответили Николаю хмурым молчанием. С высоты трона оно было особенно заметно, и ни усердие клаки на хорах, ни офицерские глотки, кричавшие “ура” по обязанности, ни старческое шамканье членов Совета не могли скрасить или скрыть неожиданного скандала. На царской трибуне лица словно одеревенели, фигуры застыли. Рот царицы сжался в еле заметную линию. Николай сошел с возвышения. Прием кончился. Рассказывают, что на половине царя злобно подавленное настроение его разрешилось спазмой в горле (*globus hystericus*) и что два часа Николай не мог произнести ни слова. Правда это или нет, но по сравнению с оживлением на улицах, даже в тюрьмах, где ожидали с часу на час амнистии, Зимний дворец был словно изолированным, зачумленным местом...»

XIII

Господство Камарильи

Время между 1 и 2 Думой ознаменовалось крайним напряжением борьбы между самодержавием, которое восстанавливало себя, и крайними элементами русской революции. Погромы, которые

устраивало правительство, вызывали политические убийства, а на убийства правительство отвечало новыми казнями.

Ни правительство, ни Николай не считали своего положения прочным. «В Петрограде не шутя готовились к бегству в случае всеобщего восстания, и на рейде долго спустя после 8 июля все еще болталась какая-то флотилия нерусского происхождения и службы. Атмосфера двора не могла быть веселой, как и всегда, впрочем, и в ней трудно было зародиться трезвым и продуманным государственным актам».

В этот момент Столыпиным была сделана попытка заручиться согласием нескольких общественных деятелей войти в состав его кабинета. Ни гр. Гейден, ни Н. Львов, ни Д. Шипов не пошли навстречу предложениям Столыпина и ставили условием выполнение царем обещаний, данных 17 октября. Хотя ясно было, что царь не пойдет ни на какие уступки, но для вида Николай принял Н. Львова.

«Львов был потрясен аудиенцией. “Я ожидал, — говорит он, — увидеть государя, убитого горем, страдающего за родину и свой народ; а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный шнурочком...” (Форма стрелкового батальона императорской фамилии, где Николай любит бывать и много пить; однажды он пустился даже вприсядку в присутствии солдат, оравших непристойные песни, среди поголовно пьяных офицеров.)

Разговор соответствовал костюму и настроению. Львов в тот же день заболел нервным расстройством и долго не мог оправиться от свидания с царем. Царю не нужны были такие люди, они или казались ему жителями иных миров, или он издевался над их идеализмом и искренностью, чуждый этим понятиям от природы. Ему понятней, милей были рассказы Лауница о засеченных крестьянах и спаленных деревнях, а еще лучше — детали погромов и патриотических манифестаций...»

И действительно, Николай весьма близко стоял к организации погромов. Еще с ноября 1905 г. стали распространяться в войсках и среди городских мелких ремесленников погромные прокламации. Все они отпечатаны были на прекрасной бумаге, и отдельные листки были не только литературно написаны, но и не лишены известного таланта. Как известно, Лопухиным и Макаровым вскоре было обнаружено, что прокламации печатаются в одной из комнат Департамента полиции, что печатает прокламации

жандармский офицер Комиссаров, переодевающийся для этого в гражданское платье, что тексты прокламаций поступают из Царского Села за подписями, по-видимому, Трепова, что Рачковский является частью передаточной инстанции между дворцом и типографией, частью техником, достающим шрифты, машины и т. п. ...

Нужно ли говорить, что на другой день после того, как все это стало известно, в типографии не оказалось ни листка бумаги, и даже новую прекрасную машину зачем-то сломали. «Еще немного спустя, на одном великосветском обеде жена Витте сказала: “А Рачковскому 75000 руб. дали за типографию”. Действительно, 16 января царь написал на докладе Трепова о деятельности Рачковского: “Выдать 75000 р. за успешное использование общественных сил” (не вполне дословно). Кроме того, старый парижский шпион получил звезду Станислава. Комиссарову, который сам признался Дурново, что оригиналы прокламаций находятся в надежном месте, дали орден Владимира. Вуич получил повышение, равно как и все распространители прокламаций на местах. Так, например, Климович, разбрасывавший их в г. Вильне, был назначен помощником московского градоначальника, где совместно с последним проворовался, и т. д.».

Так царя окружило второе правительство, не совпадающее с правительством явным.

«Это было правительство погромов, провокаций, белого террора. Достаточно изобличенное первой Думой, оно не думало складывать оружие, ибо ничто не указывало на перемену в настроении и симпатиях Николая, возле которого группировались высокопоставленные погромщики. Да и не одни высокопоставленные. Со свойственной всем Романовым памятью на фамилии царь при представлениях губернаторов прежде всего осведомлялся, в добром ли здравьи пребывали его друзья. Ярославский губернатор, Римский-Корсаков, союзник, всегда, например, передавал Кацаурову, местному устройщику погромов, о том, что “Его Величество изволил о вас осведомляться”. В Москве были Грингмут, Ознобишин, Восторгов; в Почаеве — о. Виталий, редактор-издатель погромных “Почаевских листков”; в Саратове — епископ Гермоген; в Царицыне — Илиодор и т. д., и т. д. Д-р Дубровин, председатель Союза русского народа и организатор политических убийств, жил в Петербурге в постоянном и тесном общении с дворцовыми сферами. Он удостоивался милостивых

телеграмм и всяких иных знаков монаршего внимания, а после 18 июля, после убийства Герценштейна — окончательно вообразил себя диктатором, союзников — своими рабами, а их кассу — собственным капиталом.

Постепенно царь отдалялся от порядочных людей, еще встречавшихся среди придворной и чиновной знати, и, в свою очередь, они от него отказывались. Сами немало помогли моральному дегрессу Николая, они оставили его на произвол черносотенцев, от которых можно было научиться только мании преследования — в буквальном и переносном смысле этого понятия... В своеобразном “саду пыток”, в который, волею самодержца, обратилась империя его предков, было где разгуляться мстительному воображению, выказать свои симпатии, и Николай широкими жестами являл их всему миру. Царица в это время разделяла тревоги, которые приносит жертвам своим страшная *mania persecutiva*, с бывшим прибалтийским усмирителем, молодым и красивым генералом Орловым. Связь была всем известна, да на этих высотах праздности и сытости трудно не возникать всевозможным излишествами, запретным развлечениям и фаворитизму. Мужу не могли нравиться эти отношения, его самолюбие отца семейства страдало, но отвлечь жену не было ни уменья, ни, может быть, охоты. Его больше еще тревожили отношения к нему великих князей — дядей и кузенов. Как ни старался он исполнить советы Владимира и восстанавливать значение своего титула, проклятая конституция все еще чадила на всю Россию и кружила головы подданным. Вместе с тем родственные советы сопровождались весьма прозрачными угрозами устроить дворцовый переворот, если царь откажется от черносотенной политики. Правда, душа его очень лежала к ней, но чего не сделаешь ради спасения своей жизни и династии; а чего доброго, либералы, хотя бы вроде павшего Витте, могли опять увлечь, как сирены, на дно конституционного моря. И Николай с особенной готовностью шел в объятия Богдановича, Дубровина, Восторгова, писал рескрипты и депеши погромщикам, украшал орденами убийц. А уж их дело было отстранять от него опасных людей, хотя бы и приходилось для сего спускать бомбы в печь виттевского кабинета...»

«С армией начиналось сверху небывалое еще заигрывание. Не говоря уже о материальных подачках — улучшении пищи, одежды, казарм, или о смягчении условий службы, но и в самом

отношении начальства, и особенно царя, сказала яркая перемена. Все делалось открыто, с цинизмом людей, прижатых нуждою к стене. Части гвардии вызывались одна за другой в царскую резиденцию; Николай выходил к солдатам, неизменно неся на руках наследника, проделывая весь ритуал взбадривания патриотических чувств, передавая малютку на руки какого-нибудь старого вахмистра, снимаясь в общей группе с офицерами, угощая солдат чаем. Одновременно изобретались для них всевозможные жетоны, медали, крестики и другие знаки отличия, всегда — за подавление чего-нибудь. Наконец, совершенно отмякнув душой при виде семеновцев, от которых единодушно отвращались взоры его подданных, царь воскликнул, в конце своего обращения к ним:

— Семеновцы! Дорогие мои...

Семеновцы должны были прослезиться; но месяц спустя офицеры этого полка уверяли, что не только пропаганда среди солдат существует, но и предотвратить ее они бессильны. Несколько позднее командир этого полка Мин был убит Коноплянниковой.

Таким образом, и здесь не было ничего верного, анархия доползла до самого трона, а Россия с ее генерал-губернаторствами переходила, в сущности, к федеральному строю. Все запуталось, закружилось в бешеном вихре беззакония и репрессий...»

«Как ни странно, ни Семеновский полк, ни даже конвой царя не гарантировали ему полноты покоя в Царском Селе. Пришлось учредить из бывшего “сводногвардейского” полка особый полк, чисто преторьянского характера, который и несет теперь охрану царской семьи, задариваемый, задабриваемый, сделавшийся не только свидетелем великолепия и пышности царской жизни, но и ее изнанки. В летние дни, когда окна всех этажей открыты, из них доносятся до караульных солдат, коротающих на скамьях гауптвахты свое время, не только звуки рояля или детского смеха, но и переборы царя с царицей, темой коих бывает и генерал Орлов, ныне умерший, но и в могиле близкий. Приходится дежурным офицерам докладывать о таких невольных свидетельствах по начальству, дразги и сплетни волной плывут по дворцу, выливаются через ряды охраны и высокие заборы на улицу и, мешаясь с ее обычной грязью, размазываются по всей земле русской, подтачивая престиж царя, династии, монархизма.

Еще более, чем от внешней охраны, стала зависеть судьба Николая и его семьи от охраны тайной. Совершенно невероятно

было бы предположить, что он принимал участие в обсуждении погромов, прокламаций и т. п. треповских и великокняжеских делах; но дух его был с ними, оправдал их, радовался успехом; и охрана жадно присасывалась к царскому имени, укрывалась под горностаевой мантией самодержца, высовывала свое ядовитое жало из-под трона российского; держава ее была сильна, сплочена, организована, как только воровские и разбойные шайки бывают крепки, потому что иначе — всем сразу конец; и широкие полномочия были ее скипетром. Чувствует царь свою зависимость от охранников и будет чувствовать ее до конца жизни, и не только потому, что, отвернись он от них, и будет убит каким-нибудь Азефом, но и потому, что всегда грозит ему шантаж, бояться коего есть все основания...»

XIV

Вырождение династии

Прошли времена первых Дум, и все больше мельчала русская жизнь.

«Вместе с освободительной волной отхлынула и большая часть дворцовых тревог; там ведь тоже хотелось отдохнуть, забыться, вернуться к скабрезным анекдотам, охоте, безмятежному *farniente* в обществе любовниц и любовников. Постепенно смягчались вести снаружи, редко приставали министры с неприятными сложными делами, и в затихавшем воздухе дворца люди-пауки заплетали свои паутины, окутывая всех и все серыми, однообразными петлями пошлости и житейской пустоты... За это время и в жизни государыни, и без того надтреснутой и ненормальной, произошла большая перемена: умер ее фаворит, генерал Орлов. Мания преследования наложила на него свою руку тяжелее, чем на других, и скрутила молодой еще организм в какие-нибудь два-три года. Тем искренней и горше были высочайшие слезы, проливавшиеся над безвременной могилой прибалтийского усмирителя; и это были одинокие слезы, генерал не оставил по себе доброй памяти. Императрица долго продолжала посещать дорогую могилу, и так как паломничества эти не могли не быть известны ее мужу, то семейные нелады, от которых никакая власть не страхует, обострялись; учащались сцены и увеличивалось число их невольных свидетелей. Во дворце было так же тошно, как в буржуазной семье накануне распада. На беду, психическое состояние Александры

Федоровны внушало все худшие опасения; подкравшись, как всегда, незаметно, по закоулкам, устроенным коварной наследственностью, тяжкий психоз выбрал удачную минуту и громко заявил, водворяясь поплотнее в бедном человеческом мозгу: “J’y suis, j’y reste” *.

Этим удобным случаем было крушение императорской яхты “Штандарт” в финляндских шхерах. Не крушение — простая постанова на мель зазевавшимися придворными мореплавателями — но кто поймет это в первый момент? Царицу с детьми посадили на шлюпку и отправили на первый попавшийся остров. К несчастью, острова кишели солдатами, которым даны были прямолинейные, но мало продуманные инструкции палить без предупреждения по всякому приближающемуся судну. Они и открыли беглый огонь по катеру со “Штандарта”. Было от чего “в отчаяние прийти”, всякая мать поймет это; и больная царица сделалась еще больней. К обычной форме маниакального помешательства примешалась вскоре странная, но непреоборимая любовь к одной из придворных дам, к Вырубовой. Разлуки с ней приводили жену Николая в такое возбуждение, что однажды пришлось из шхер посылать за возлюбленной фрейлиной миноносец, и тогда царица успокоилась. Слухи проникали в народ, помешательство царицы становилось общеизвестным и связывалось с судьбой ее сына, рожденного уже после начала болезни. Но Алексей когда еще вырастет, да и будет ли царствовать; а вот мужу и детям сообщество психически больной жены и матери было и тяжело, и опасно; поэтому испробовано было все, что могли дать богатство и власть. Держали в Вилла-Франке яхту для изоляции на море, строили дворец в Крыму, для изоляции на суше, интернировали за решетками замка Фридберга близ Наугейма. Осматривали больную светила мировой медицины, молились о ней архипастыри всех церквей; общее сочувствие родного немецкого народа могло быть полезно, как успокаивающее средство. Ничто не помогало. Над семьей Николая нависло, вдобавок к прежним, новое бедствие, и хорошо еще детям, что отец их чадолюбив и мил с ними.

Следует думать, однако, что все это молодое поколение заражено повышенной психической возбудимостью, ибо вся обстановка дворцовой жизни слагалась за эти годы так, чтобы дурно влиять

* “J’y suis, j’y reste” — раз уж я здесь, я здесь и останусь (фр.). — *Ред.*

на детскую мозговую систему. Невозможно было утаить от детворы, которой нужна беззаботность, что во дворце устраивались блиндированные подземные помещения. От кого хотели скрываться? Не от народа, если войска верны, а пулеметы на местах и заряжены? Значит, от самих войск? Значит, на преторьянцев так же мало надежды, как на каких-нибудь урупских казаков, стрелявших из-за баррикад? Где же верные люди, на кого можно положиться, кто силен на самом деле, а не по виду? Все это были естественные темы для размышления под детскими пологам в те вечерние часы, когда во всякой частной семье ребятишки безмятежно засыпают под напевы няни или мурлыканье раскормленного серого кота...»

«XX век застаёт на тронах и возле них такое обилие психически неуравновешенных людей, что вопросы личной политики начинают являться перед народами в новом, еще более чреватом последствиями виде и тревожном освещении. Очевидно, что чем больше суживается круг врачующихся членов правительствующих семей, тем более подвигается вперед естественное вырождение; а то обстоятельство, что из этих матримониальных операций не исключаются своевременно ветви, зараженные настоящим безумием или другими болезнями, влияющими на потомство, — еще более отягощает будущее династии. Представительный строй вносил некоторые поправки в создавшееся положение, но и законодательным палатам приходилось не однажды в отчаянии опускать руки перед новыми и новыми сюрпризами, исходившими из дворцовых недр. Ни культура, ни выдающиеся способности отдельных монархов, ни высокая личная честность их не спасали нацию от ущерба, наносимого проявлением личной воли безответственных лиц. С этой точки зрения всегда понятна популярность невест из датского дома; все они были здоровы, милостивы, с хорошей наследственностью. Довольно взглянуть на старую русскую царицу, под слоем искусно наведенной живописи не утратившей ни блеска глаз, ни доброй улыбки, чтобы оценить физическое здоровье как совершенно необходимое для продолжительницы династии условие...»

«Ничья психология не представляется такой странной и полной противоречия, как Николая II. Внешняя скромность, даже застенчивость; печальные глаза и недобрая улыбка губ; чадолюбие и равнодушие к чужой жизни. Домоседство и алкоголь; лень к делам и резкость суждений. Подозрительность и вера на слово

всякому проходимцу. Любовь к преступлениям, огню и крови и дикая, по-видимому, вера в божество. Щепетильная обрядность и столоверчение; открытие мощей и выписка Филиппов и Папюсов и т. д. без конца. Здесь не только двойственность, неизбежный спутник всякой живой человеческой души; здесь просто анархическая смесь разных наклонностей, неустройство мыслительного аппарата, машина, где одни винты ослаблены, другие перевинчены, третьи растеряны. Словно на смех одарила Немезида этот отпрыск романовского дома всеми отрицательными чертами его представителей и дала так мало положительных. Все это отразилось от услужливого бюрократического зеркала на управлении государством и внесло во все дела ту же путаницу, анархию, что царили в царской голове. Возьмем, опять наудачу, несколько типичных его действий последнего времени. Всем известна снисходительность Николая к погромщикам и политическим убийцам; их помилования вошли в своеобразную систему “борьбы с судом”, как это сказал сам царь г. Коновницыну; тут все же можно нащупать мотив — если угодно, даже широкий — однобокой политической амнистии. Но вот малмыжский исправник Федоров присуждается к 7 годам каторжных работ за поджог собственного дома с целью получения страховой премии. Царь дарует ему полное помилование, совершенно не понимая, в какое дикое положение ставят его люди, подсовывающие такие ходатайства, но безотчетно следуя врожденной ненависти к народу и любви к полиции, охраняющей самодержавие. Но и в этой привязанности конец может наступить совершенно неожиданно; в самом деле, нужно бы понять, как трудна с внешней стороны охрана царской жизни; по нынешним временам приходится охранять и президентов республики, и даже лидеров политических партий. Между тем довольно было невежественной бабе-гадалке уверить Николая, что “теперь” покушения не будет, как он бросает все предосторожности, выходит на улицу без предупреждения и для начала едва не попадает под вагон трамвая; не растерявшийся вагоновожатый получает крупную денежную награду, полицейские сердца бьют мелкую дробь, а гадалка может торжествовать: “Вот и трамвай его не берет!”

Пренебрежение к труду и заботам личных слуг есть показатель изменности хозяйской натуры. Но как связать эти частые проявления с теми запросами духа, которые, хоть и в крайне уродливых формах, но всегда ярко выражаются этим стран-

ным человеком? Умер Толстой. Царь списал приготовленную для него напыщенную резолюцию на докладе, призывая Бога к милостивому суду над скончавшимся отлученным христианином. В реакционной печати царские слова расцветивались бенгальскими огнями открытой лесты, но это не удовлетворяло Николая; его ум, охотно вращающийся в области религиозных исканий, тревожился сомнениями, правильно ли поступил синод, запретив заупокойные службы и похороны по обряду? Казалось, было бы с кем посоветоваться на эту тему, но царь выписывает из Сибири своего давнишнего приятеля, кого бы вы думали, однако?.. Григория Распутина, профессионального растлителя девушек и разоблаченного даже ультрачерносотенным архиереем Гермогеном негодяя. Вот подлинные слова Распутина в вагоне I класса сибирского экспресса, сказанные им спутнику, г. Х...: “Не в первый раз еду в Царское Село... Правда, придворные меня не любят... Ну, да я как бы к дядьке наследника в гости хожу, а там меня проводят к царю, и я с ним и царицей за одним столом сажу, чай пьем, разговариваем. А теперь меня царь вызывает, чтобы насчет того поговорить, правильно ли попы поступили, что Толстого отказались хоронить. Царь считает, что поступили они глупо” (характерно, что Распутин, едучи в Царское, уже знает мнение царя. Не переписывается ли он с ним?).

Когда на шестой или седьмой день пути, сойдясь с Распутиным поближе, его спутник спросил:

— Ну, а скажите, неужели правда все те гадости, что про вас в газетах пишут? — Распутин, ухмыльнувшись, ответил:

— Половина-то, конечно, вранье, ну, а впрочем... все мы люди, все мы человеки... — И плотоядно хихикнул. Вот к чему и к кому приводит царя извращенная потребность в мистике.

Так же неясна, но сильна потребность и во внешних доказательствах культа. Примитивная вера фиксируется не столько на познании божественной воли, сколько на изображениях божества. Только у царей вроде Николая или изгнанного португальского короля Мануэля можно видеть изголовье кровати увешанным иконами в том беспорядочном изобилии, которое встречается у прислуг, недавно приехавших их деревни в город. Все кажется мало, на всякую новую житейскую задачу или заботу хочется выискать специфически действующее святое изображение. Оригинально, что такого рода мании бывают иногда заразительны. Молодая царица, до замужества с презрением относившаяся

к православию, чувственная сторона коего претила ее душе, теперь скупает иконы по всей России. Еще оригинальней, может быть, то обстоятельство, что главным поставщиком ее является некрещеный еврей Гоберман, московский старьевщик. За старые, прокоптелые иконы платят очень хорошо. Молятся самым странным изображениям: так, в дворцовой гатчинской церкви обращает на себя внимание образ, где среди обычных русских святых ликов красуется рыцарь в латах, но с собачьей головой — легенда гласит, что его стесняла красота лица, и по молитве его Господь обменял ему голову на собачью...»

«Слухи о том, что царь сильно пьет, давно бродили по свету, но теперь, когда любой студент-медик по почерку Николая может определить отравление алкоголем, а любой кавалерийский вахмистр скажет, видя, как дрожит рука держащего поводья: “Эге, брат, выпиваешь”... теперь не скроешь своего образа жизни. Мало-помалу стеснение пропадает, привычки выносятся на улицу. И года три спустя после того, что царь плясал вприсядку в малиновой рубашке на полковом празднике “императорских” стрелков (в присутствии солдат), он дошел до того градуса свободы, когда хочется всем демонстрировать свое душевное состояние. Одевшись солдатом, взвалив на плечи ранец и взяв ружье, Николай вышел, слегка пошатываясь, из своего крымского дворца и промаршировал десять верст, отдавая честь проходившим офицерам, испуганно оглядывавшимся на это чудо. Скандал был настолько велик, что для ликвидации его придумали новый поход, в другой уже форме, чтобы придать делу вид преднамеренности и кстати возбудить в армии восторг перед “до всего доходящим” царем-батюшкой. Но солдата XX века, да еще побывавшего в революционной переделке, этими наивностями не проймешь. Он очень хорошо понял, что царь действительно “дошел”, но не до солдатской участи, конечно, а до той грани, за которой алкоголикам чудятся зеленые змии, пауки и другие гады. Пришлось замолчать, и распространение фотографий и описаний подвига “самодержавнейшего” государя прекратилось.

Кто знал семейную жизнь Николая, особенно в эти годы, тот не осудил бы его с общечеловеческой точки зрения. Люди запивают и от меньшего горя, особенно люди неустойчивые, невежественные, ленивые по природе. Жить бок о бок с женщиной, которая от злобных выходок молодости незаметно перешла к ипохондрии и наконец безумию, а в то же время рожала

и кормила детей; знать свою зависимость от Азефов и Рачковских, к которым не могло не быть презрения даже и в душе дегенерата; видеть вокруг только низкопоклонные выражения лиц и быть уверенным, что, как только уйдешь из комнаты, эти лица немедленно перемигнутся, и кто-нибудь постарается сострить, — такая жизнь при доминирующем чувстве безответственности и отсутствии живого интереса к большим операциям, каковыми так богата жизнь народа, — должна была быстро сточить и те немногие возвышения над животным состоянием, какие свойственны самым примитивным натурам, и обратить стремления организма к линиям наименьшего сопротивления. Наследственность — запой отца и злоупотребления вином и женщинами деда — помогла разгрому царского организма так же, как преемственность реакции — разгрому государственного. Рядом с этим росло недоверие и подозрительность: когда чувствуешь себя как бы виноватым перед всеми, очень скоро начинает казаться, что это все перед вами виноваты; всюду видишь тогда опасности, обман. Если есть возможность при такой обстановке как-нибудь осуществлять свою волю, то проявляется она в формах резких, необдуманных, способных раздражать или трогать — глядя по настроению. Когда, как это было с последней историей в высших русских школах, царь брал в свои руки руководство репрессиями против студенчества и профессуры — это всех раздражало, путало расчеты правительства и создавало кризис не одной школы. Когда черты вырождения и недомыслия сказывались дома, они могли увлажнять глаза сентиментального свидетеля их. Таким свидетелем сделался однажды уволенный за «либерализм» товарищ министра народного просвещения, Герасимов. После обычных и незначащих фраз, которыми цари отделываются от докучливой обязанности говорить с незнакомыми и неинтересными людьми, что называется для красоты слога «высочайшими аудиенциями», Николай вдруг сделал «простое» лицо и спросил Герасимова:

— А что, вы получили пенсию?

— Как же, Ваше Величество, получил, приношу Вам глубокую благодарность.

— Это очень хорошо, — добродушно перебил царь, как бы отвечая на свою собственную мысль. Потом не удержался и высказался:

— Они ведь могли бы и не дать...

Это “они”, направленное против правительства, тяжесть которого давала себя чувствовать и Николаю, глубоко тронуло Герасимова, и, чтобы не выдать волнения, он поспешил отвесить новый поклон; но царь, думая верно, что отставной сановник собрался уходить, удержал его за руку и сказал:

— Погодите. Вы куда едете отсюда?

— В Смоленск, Ваше Величество.

— Покажите по карте, по каким дорогам вы поедете. Я люблю знать, как едут бывшие у меня, — и с этим он подвел оторопевшего Герасимова к карте России, по которой он и показал царю простую черту — Николаевскую и Новоторжковскую железные дороги, которые известны всякому школьнику.

Долго еще не мог оправиться от этой аудиенции чиновный либерал, и Бог весть, сколько людей, “едуших от него”, этого странного человека в рубашке и шароварах, увозили с собой те чувства жалости и расположения, на которых многое можно было построить, если б Николай знал вообще цену таким чувствам. Но одновременно с падением всякого личного на него влияния и увеличением порций вина эра конституционная незаметно сливалась с фантастической эрой “неограниченных возможностей”, в которой страна потеряла всякое равновесие и которая грозит миру всякими сюрпризами...»

